

Мария Вязьменская

Дюймовочка в железном бутоне

Семейная история

12+

Мария Моисеевна Вязьменская Дюймовочка в железном бутоне

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57119590

SelfPub; 2020

Аннотация

Повесть-воспоминание о детстве маленькой девочки, у которой умерла мама, и ее жизни в ленинградском интернате в пятидесятые годы прошлого века.

Содержание

Глава первая: ул. Марата	5
Отступление: очередь на подписку	9
Продолжение главы: ул. Марата	17
Отступление: игрушка Дюймовочка	24
Глава вторая: я, мама, бабушка, Мудровы	27
Отступление: удаление гланд	31
Продолжение главы: я, мама, бабушка, Мудровы	35
Отступление: кукла из Германии	39
Продолжение главы: я, мама, бабушка, Мудровы	42
Отступление: папа и Шурка	44
Продолжение главы: я, мама, бабушка, Мудровы	47
Глава третья: бабушка живет с нами	56
Отступление: история про чернику	60
Продолжение главы: бабушка живет с нами	64
Глава четвертая: мамы больше нет	66
Глава пятая: интернат	74
Отступление: папины истории	101
Глава шестая: хорошая девочка Маша	106
Отступление: на ростовском перроне	108
Продолжение главы: хорошая девочка Маша	111
Глава седьмая: тетя Лида	115
Глава восьмая: новая мама	124
Отступление: аутодафе	126

Глава первая: ул. Марата

Меня зачали, когда папа уже болел туберкулёзом, заразившись от соседки по квартире, но они с мамой ещё не знали об этом. У них были две маленькие дочери, и мама сомневалась, рожать ли ещё одного ребёнка в тяжкие послевоенные времена. Она собиралась найти повивальную бабку, промышлявшую опасной помощью невольницам сталинского закона, запрещавшего аборт – вождь заботился о репродукции населения, значительно уменьшившегося за время войны, а может, сама знала народные средства, помогающие избавиться от нежелательной беременности, но папа, как он рассказывал мне, увидел во сне свою мать, мою бабушку Мусю-Хая, предрёкшую, что зачатый ребёнок займёт особое место в его жизни. Как все мужчины, он, ничтоже сумняшеся, решил, что покойная мать пророчит ему наследника – ребёнка мужского пола, и потому решительно пресёк попытки жены избавиться от меня или, если быть корректной, от плода, который впоследствии развился, сформировался и явился миру младенцем, к величайшему сожалению разочарованного отца, женского пола, то бишь мною.

Помня, хоть и не о провидческой, но, по крайней мере, о сновидческой связи родившейся дщери с его покойной матушкой, папа нарёк меня Марией – русским эквивалентом библейского имени Мириям, от которого происходит первое

бабушкино имя Муся. В советские времена бабушку тоже именовали Марией Моисеевной Вязьменской, так что я оказалась полной ее тёзкой.

Наиглавнейшее событие моей жизни – появление на свет – произошло в городе Новосибирске, где семья оказалась из-за папы, который, будучи топографом-изыскателем, прокладывал в тайге линии электропередач и в 1946-1948 годах возглавлял геодезическую партию, искавшую трассу для новой высоковольтной линии в восточной Сибири. Мама с дочерьми сопровождала мужа в экспедициях: в их ленинградский дом попала бомба, и кроме поисковых партий семье попросту негде было жить.

В послевоенные годы вернуться в Ленинград можно было только по разрешению властей, и начальство Теплоэлектропроекта (ТЭПа), где папа трудился с 1936 года, выхлопотало для семьи инженера Вязьменского высочайшее дозволение вернуться в восстанавливаемый город. В ноябре 1948 года родители с нами тремя – мал, мала, меньше – вернулись из Новосибирска в Ленинград.

Семья поселилась в двух смежных комнатах громадной коммунальной квартиры на улице Марата. *Дом двенадцать, квартира тринадцать*, как считалочку детства, помню с тех пор. Странное сочетание цифр в номерах дома и квартиры поразили мою тридцатипятилетнюю маму. Наверно, в те жёсткие, трудные времена ей не хватало лёгкости и шалости в окружающей жизни, и она сама послала себе письмо, от-

правив его по адресу: *здесь, ул. Марата, дом дюжина, квартира чертова дюжина.*

Я спрашивала папу, что она написала в нем: «Кажется, вложила в конверт пустой листок». Ну да, шалость, шутка, а, поди, знай, чем она могла обернуться в те годы.

Мне до сих пор радостно слышать название улицы, на которой я жила в раннем детстве – *Ма-ра-та*... Папа рассказывал о Великой Французской революции, о каком-то Марате, убитом в ванной, но непонятная страшная история совершенно не подходила к нашей светлой широкой улице. Я думала, ее назвали в честь месяца марта *Мартовской*, только лишняя буква А затесалась в серединку названия. Существуют же буквенные прятки: город—град, морок—мрак, ворог—враг. Мне почему-то долго казалось, что *март* и *Марат* так же прячутся друг за друга.

Пройдя подворотню дома двенадцать, вы оказывались в одном из классических петербургских дворов-колодцев, с четырёх сторон ограниченных стенами дома. В центре двора стоял флигель с большим нарядным подъездом, где в широком проёме пологой мраморной лестницы еще сохранился давным-давно сломанный, когда-то роскошный лифт с кабиной из красного дерева и чугунной вязью дверей. В пятидесятые годы заброшенный лифт терзали лишь местные ребятишки, продолжая разрушение старого мира, начатое их дедами.

Вход в ту часть дома, где располагалась наша квартира,

как и подъезд флигеля, находился во дворе, только, в отличие от оно́го, наш не отличался парадностью – в квартиру тринадцать входили с чёрного входа.

В левой стороне грязного и тёмного подлестничного пространства имелся подвал, после войны превращенный в квартиру на семь-восемь семей, в которой наша семья прожила десять лет.

Одна из комнат, в которых мы жили, была вытянута в длину и имела два окна, смотревшие на улицу, вторая, примыкавшая к первой, уходила вглубь квартиры и была без окон. В светлой комнате вдоль стен, как в сказке про трех медведей, стояли три кровати, на которых спали мы, девочки. Между окнами размещался письменный стол, где Наташа, старшая из сестёр Вязьменских, делала уроки. Потом ему пришлось подвинуться, чтобы поместился второй, поменьше, для Милы, мне отдельного стола не завели и, когда я пошла в школу, то с домашними уроками справлялась по очереди с Милой: Наташа считалась уже взрослой девушкой, и ее пенаты для нас, малявок, были запретными.

Отступление: очередь на подписку

Мы с Милой общались с детьми Весниковых: Митяй – он, правда, имел другую фамилию, своего отца, первого мужа их матери Вали – дружил, да что там *дружил!* – был отчаянно влюблён в нашу Милу, а его младшая единоутробная сестра Таня, дочь второго Валиного супруга, мужского закройщика Весникова, *играла* со мной. В детстве мы определяли отношения – я с тобой *играю*, я с тобой не *играю*. До дружбы ещё нужно было дорасти.

Семья Весниковых отличалась от нашей. Энергичная решительная Валя – в квартире ее звали Валькой – принадлежала к породе *бойцовых* особей. Она громогласно и твердо руководила супругом и детьми, позволяя, не позволяя, страшая, покрикивая, улещивая, к тому же ни на минуту не переставая скрывать, что ее муж принимает частные заказы и шьёт мужские костюмы и пальто. В те годы по сигналу соседей вездесущие налоговые инспектора могли нагрянуть к любому закройщику или портному. Обнаружив у бедняги несколько недошитых вещей, его облагали таким драконовским налогом, что вынуждали день и ночь трудиться на государство, причём вырваться из крепостной зависимости не удавалась никому. Скрыть, что Весниковы живут в достатке в нищие послевоенные годы в коммунальной квартире было нереально. Поэтому бдительная Валька с соседями старалась

дружить, чтобы не донесли.

С ее сыном Дмитрием – Митяем, как мы его звали в детстве, я однажды столкнулась неожиданно близко во взрослой жизни.

Мой отец – преданный читатель и почитатель книг, выйдя на пенсию в 1973 году, устроился работать в отдел «Книга-почтой» большого книжного магазина, который находился недалеко от его дома в Весёлом посёлке. В семидесятые годы прошлого века хорошая литература практически не выставлялась на полки книжных магазинов, а продавалась *по благу* или, как говорили, *из-под прилавка*. Папа справедливо рассудил, что работа в книжной торговле увеличит его шансы на приобретение дефицитных книг. И действительно, время от времени ему выпадало что-нибудь интересное – недоступное обыкновенному покупателю. В начале октября 1976 года в Ленинграде объявили подписку на пятидесяти-томное издание «Всемирной детской литературы». Моей дочери Тане было четыре года, Милиному сыну восемь, и мы с сестрой мечтали подписаться на многотомник, что даже теоретически выглядело непросто.

При каждом книжном магазине существовала постоянная группа людей, которые точно знали, когда и на какое собрание сочинений будет производиться подписка. Они организовывали очередь, являясь на переключки, отмечая присутствующих и вычёркивая не пришедших, то есть держали процесс приобретения подписного издания в своих руках

и под своим контролем. Как я понимаю, папа поддерживал связь с организатором такой очереди у их магазина. Взамен оказанных услуг – то ли книжек, то ли сведений о поступлении новинок – он получил для нас номера в очередях на подписку «Детской литературы». Для Милы – у себя, для меня – в аналогичной очереди у магазина «Подписные издания», который находился на Литейном проспекте недалеко от Невского.

– У тебя номер двадцать, – сказал отец. – Переключка сегодня в двенадцать дня. Никуда не отлучайся, там очень жёстко. Могут следующую проверку устроить через час. Выбросят из очереди и все! Второй раз я ничего не смогу сделать. Лучше никуда не отходи.

– Папа, я же работаю! Танечка в детском саду! Коли нет, он в Корвале, как я справлюсь одна?

– Я подъеду к тебе на Литейный, возьму ключи и заберу Таню из садика. На работе договорись об отпуске на три дня. Всего-то трое суток постоять! Зато потом будешь получать каждый том и радоваться. Астрид Линдгрен. Сельма Лагерлеф, «Маленький принц», «Мэри Поппинс». Какие книги! Кстати, подойди к ответственному за вашу очередь и скажи ему спасибо. И от меня передай привет.

– А кто это? Он тебя знает?

– Ещё бы! Он и тебя знает!

– А кто это, папа?

– Подойди-подойди, увидишь.

Молодого симпатичного держателя очереди звали Димой Петренко. Переключку проводил он, и, произнеся мою фамилию Вязьменская, оторвался от лицезрения списка и внимательно посмотрел мне в лицо. Я улыбнулась ему, благодаря за себя и за папу. Я никогда не видела его прежде. После переключки он подошёл ко мне сам.

– Тебе привет от моей сестры Тани, – произнёс он. Я не понимала, о какой Тане он говорит.

– Мы были вашими соседями на Марата, неужели не помнишь?

– Господи! Ты – Митяй? И Таня Весникова – твоя сестра... Помню, конечно, помню!

Теперь я поняла, о ком говорил папа.

– Тебе привет от моего отца. И спасибо от нас обоих. – Я не понимала, как, что, почему? Как папа нашёл Митяя? Что это значит – Митяй и книги? Почему он *держит* очередь на подписные издания?

Отец оказался прав. Приключение под названием *подписка на «Всемирную детскую литературу»* длилось ровно трое суток, которые я единственный раз в жизни почти полностью провела на улице. Днём сидя, ночью лежа на скамейках, которые на счастье тогдашних моих сумасшедших соотарищей – интеллигентов? люмпенов? – стояли вдоль забора Куйбышевской больницы, или стоя около здания нашей вожделенной цели – магазина «Подписных изданий». Папа привез мне одеяло, я использовала его то по назначению, то

как накидку. В пирожковой на Жуковского мы покупали жареные пирожки с ливером, хотя уставшее тело, промёрзшее и саднящее в каждой мышце и косточке, бунтовало против еды. Голос осип, от сигарет разболелась голова, саднило горло, я мечтала только о горячей ванне и горячем какао.

Когда ко мне подошёл Митяй? Кажется, во вторую ночь. Мы сидели вдвоём на скамейке почти в полной темноте, только фонари на правой стороне Литейного отбрасывали на нас неоновый свет.

– Я знаю, Мила стоит в очереди в Весёлом посёлке, – вдруг сказал он.

– Ну да. Я тут, а она около родителей. Нельзя же было в один магазин вдвоём стоять.

– Я помню тётю Таню, – вдруг сказал он. – И тебя маленькую. Вашу семью. Мы вас очень жалели.

Я молчала, что тут сказать...

– Как там Мила? – Вдруг тоскливо спросил он. Я удивилась его тону, но стала рассказывать, что наши мужья, как назло, уехали за грибами в Корвалу, и нам с Милой пришлось стоять в очередях самим. Никто не знал, что будет подписка.

– А ты откуда знал? Ещё и очередь организовал... Я совсем не представляла, что это ты, – улыбнулась я в темноте.

– Ещё бы! – Вдруг зло сказал Митяй, – вы одни такие умные, интеллигентные, книжки читаете! А мы быдло рядом с вами! Твоя сестра даже не захотела в моей очереди стоять!

Я изумилась его скрытой ярости.

– Да мы вообще не знали, что ты здесь заправляешь...

– Это ты не знала.

Он встал и пошёл к магазину, где переминалась часть будущих подписчиков, а я вдруг вспомнила, как на Марата он за дверью поджидал, когда Мила пробежит по коридору, чтобы выскочить за ней следом. Мы с его сестрой играли у них в комнате.

– Жених! – Фыркала Танька...

Кто-то, знавший Петренко по предыдущим очередям, рассказал мне, что он занимается книжным бизнесом – в те годы существовал термин *спекуляция* – покупает несколько подписок, а потом перепродаёт их *втридорога*. Но книги любит, много читает, библиотеку имеет знатную.

Накануне подписки наши старшие, и Дима Петренко среди них, провели перекличку и на четыре часа отпустили домой перемерзших подопечных. Я жила за станцией метро Автово на улице Морской пехоты – от Литейного проспекта добираться сорок пять минут. Два часа чистого времени – мои. Я стояла под душем, превозмогая боль – ледяное тело и горячая вода отвергали друг друга. Кажется, я обожгла кожу. Ничего, пройдёт, главное – теперь я чистая. Все-таки ужасно – двое суток не мыться! И что-нибудь горячее выпить. Молока нет, какао не сварить. Ладно. Вместо какао большая чашка чая с малиновым вареньем и термос с собой. Все. Пока. Завтра подпишусь и приду спать. Папуля, спасибо! Танюша, не скучай, у тебя теперь будет много замечательных книжек.

Я тебе потом расскажу. Спи. Я поехала.

Ночью откуда-то возникла вторая очередь. Их привели, когда мы уезжали домой. Мы стояли с одной стороны от входа, они с другой. Стоявшие впереди напирали на противников, стараясь занять позиции поближе. Началась перебранка и вялые оскорбления. Старшие очередей собрались на военный совет. Митяй стоял в их группе, а мы – рядовые люмпены-интеллигенты волновались за свои номера. Достанется мне подписка или нет? Сколько всего их будет?

Через два часа старшие договорились объединить очереди через одного. Кто-то стал выкликать фамилии и закреплять за нами другие номера.

– Запомните их, по ним вы будете завтра входить в магазин. Никуда не отлучайтесь, чтобы нашу очередь не рассеяли люди, которые вообще не стояли, а пришли или придут в последний момент. Из очереди отходите по одному. Сохраняйте порядок.

Митяй отыскал меня, прислонившуюся к стене здания, среди остальных стоявших и позвал покурить.

– Не волнуйся, твой номер пройдёт. Если больше не увидимся, отцу от меня

привет. – Его голос совсем осип. Похоже, Митяй отсюда не отлучался, пока мы разъезжали по домам.

На следующий день усталые замёрзшие клошары входили в тёплую обитель «Подписных изданий» и хриплыми го-

лосами провозглашали присвоенные номера. Господи, спасибо тебе, что мне удалось дотянуть до конца, что мучилась я не напрасно. Я заплатила за последний пятидесятый том «Всемирной детской литературы», получила квитанцию на остальное издание – ура! – и поехала домой. Спать. Митяя я больше никогда не встречала.

Продолжение главы: ул. Марата

Папа работал недалеко и обедать приходил домой. На первое мама подавала пустые кислые щи без мяса, а на второе — гречневую кашу с маслом. К моему детскому изумлению папа сгребал кашу в щи и с аппетитом ел густую гречнево-кислокапустную похлёбку.

– Эх, вкусно-то как! – Воскликнул он специально для меня. – Попробуй сама!

Но я предпочитала есть по отдельности – щи на первое, кашу на второе.

– Ты – урод и ноги до полу, – причмокивал папа.

– Почему до полу? – Недоумевала я.

– Потому что по полу люди ходят, а если не ты ешь, то и ходить не сможешь.

Иногда мама готовила кролика, мясо которого мне не нравилось.

– Не хочу зайца! – Противилась я.

– Какой же это заяц, – пыталась отговориться мама, – это же курочка. Вот у Милы крылышко. Посмотри сама.

Мила демонстрировала какие-то косточки, призванные доказать их принадлежность к классу птиц, и я, недоверчиво разглядывая свою порцию, начинала ковыряться в ней.

– А где грудка? – Вопросила я с сомнением.

– Мы ее ещё не съели, – отвечала мама.

У птиц ключицы срастаются вместе и образуют вилочку. Мама научила нас шуточному соревнованию – двое тянут за тонкие концы вилочки, пока она не сломается, а побеждает тот, у кого останется большая часть косточки с передним утолщением. Мила крепко держала конец куриной вилочки, предлагая мне тянуть за вторую половину, на что я в силу азартного характера всегда с готовностью соглашалась, и сестра раз за разом одерживала победу. Секрет был прост: кто тянул, тот и ломал косточку со своей стороны, а Мила как старшая знала об этом.

Эта же косточка смешно подпрыгивала на столе, когда ее связывали ниткой, ставили тонкими концами на поверхность стола и осторожно нажимали на утолщение посередине. Прыг! Прыг! Прыг! Худой скелетообразный ящер на высоких ногах скачет по саванне в поисках добычи.

- Машук, за столом не играют! – Это папа обедает с нами.
- Когда я ем, я...

Улыбается он, делая паузу перед второй частью сентенции, чтобы я закончила ее сама.

- ... глух и нем, – радостно подхватываю я.

Помимо игр за столом нельзя чавкать, греметь ложкой в тарелке и со звуком втягивать в себя чай или суп.

- Вотерлифт! – повышал голос папа.

С раннего детства я знала, что *вотерлифтом* называется водяной насос, при работе издающий сильное бульканье и свист.

Если первое предупреждение пролетало мимо ушей нарушительницы застолья, папа, не торопясь, облизывал ложку, делая вид, что вот-вот щёлкнет ею по лбу провинившейся дочери. Один раз он действительно хлопнул меня по лбу – не больно, в шутку, но помогло. Показалось обидным, и в следующий раз возгласа *вотерлифт* хватило.

Папа любил незамысловатые словечки и поговорки, которые помогали ему подчеркивать определенные жизненные ситуации.

После обеда: *«брюхо лопнет, наплевать, под рубашкой не видать!»* А после чая: *«удивительно, Мари Димитрина, чай тила, а пузо холодное!»* С чем-то не согласен, фыркнет: *«новое дело, поп с гармонью!»* Если я спрашивала, куда он идёт, он всегда отвечал: *«на Кудыкину гору»* – причём я твердо верила в существование Кудыкиной горы и мечтала когда-нибудь пойти туда вместе с папой.

На моё *нет* он отвечал: *«не гнед, а вороной»*, и я долго не могла понять, о чем он говорит. Наташа объяснила, что *гнедой* и *вороной* – масти лошадей, и я всерьёз размышляла, понял ли папа, когда я сказала ему нет. Я ведь не имела в виду лошадей, почему же он решил, что мы говорим о них?

А любимый папин стишок! В свое время он декламировал его каждой дочери, и лишь потом я обнаружила, что это текст шуточной песенки Леонида Утесова.

Чуки, чуки, чуки, чуй!

На дороге не ночуй!

Едут дроги во всю прыть
могут детку раздавить.

А на дрогах сидит дед
Двести восемьдесят лет,
И везёт на ручках
Маленького внучка.

Ну а внучку-то идёт
Только сто девятый год,
И у подбородка
Борода коротка...

А как папа переименовывал наши имена! Наташу до самой смерти звал *Натошак*. Милу – *Миськой*. Меня – *Машук*.

– На Кавказе есть гора Машук. Там погиб Лермонтов, – рассказывал он мне. – По-моему, лестно называться именем высокой знаменитой горы. Вот меня, например, называют Момкой. Мом – это имя греческого бога иронии и насмешки, и я стараюсь соответствовать ему.

Я, правда, не совсем понимала, что значит – соответствовать горе. Даже, если ее название немножко созвучно моему имени. Лишь, когда в четвёртом классе новая подруга начала звать меня *Машиной*, а родная тётка, мамина сестра, тётя Наташа стала дразнить *Манюней* – как дрессированную собачку всесоюзно-знаменитого клоуна Карандаша, я оценила сдержанность и благородство данного папой прозвища. *Ма-*

шу-у-ук. Почти *Су-о-о-ок*, которую я любила. Сестра Наташа сшила мне костюм куклы, в которую переделась Суок, чтобы проникнуть во дворец трех Толстяков, и мы с подружкой, нарядившейся наследником Тутти, завоевали первое место в школе на костюмированном балу, посвящённом Неделе книги.

Самым вкусным ощущался ломоть булки или чёрного хлеба, намазанный маслом и посыпанный сахарным песком. Ещё до моего рождения маленькая Мила прозвала деликатес – *буля-маля-потипа* – что означало – *булку с маслом посыпать*.

Ещё я любила *толокно*. Вообще-то *толокно* представляло собой овсяную муку, из которой полагалось варить кашу или кисель, но тёплый жидкий клейстер, в который превращается *толокно*, если заварить его в горячей жидкости, я не могла проглотить. Мама придумала иной рецепт – она вымешивала *толокно* со сливочным маслом и сахаром до однородного теста, и я с удовольствием уплетала сладкое овсяное месиво.

Следующей вкуснятиной считался *гоголь-моголь*. Мама ложкой растирала желтки с сахарным песком почти до белого состояния, означавшего, что крупинки сахара полностью растворились в яйце, и я наслаждалась, как говорил папа, *ёдовым*. Первая буква — *ё* с точками – для пушного ударения и усиления эффекта. *Ёдово* действительно получалось вкуснейшее.

Из белков мама иногда пекла *безе* – маленькие, сахарные,

бело-коричневатые печенюшки. У нас их никогда не называли *меренги*, как потом назвала их тётя Лида, привезя мне целую коробку в интернат.

Неизвестные лакомства я не любила. Один раз в детском саду нам на третье дали по целому блюду мытого, мокрого изюма. Сперва я с лёгким чувством брезгливости смотрела на сморщенные коричневые ягоды-горошины. Воспитательница уговорила меня взять одну в рот. Она-де сладкая, вкусная, мне обязательно понравится. Я взяла. Склизкая, с костью внутри, полусохшая винограда, которую я вынужденно проглотила, не посмея выплюнуть на глазах чужого взрослого, заразила меня таким отвращением к изюму, что я не поборолла его за целую жизнь.

Во второй раз это была конфета-помадка. Кто-то из гостей принёс нам коробку, где каждая бело-розовая конфета лежала в отдельной бумажной гофрированной розеточке.

– Машенька, возьми помадку и скажи тете Гале спасибо.

За краешек бумажной обёрочки я осторожно подняла пахучую пуговицу конфеты. Сладкий густой запах защекотал мозжечок, вызывая тошноту. Мне не хотелось класть ее в рот.

– Ну что же ты? Это конфета, съешь! – Я подчинилась.

Никакой отравы помадка не содержала – остальные домочадцы с удовольствием пили чай с принесёнными конфетами – лишь моё предубеждение против сильного кондитерского запаха вызвало внезапное желудочное расстройство.

Много лет я не могла не то что попробовать помадку – подумать о ней! Мгновенно накатывала тошнота – настолько сильны детские образы, превратившиеся в клише.

Сахарный песок мама хранила в большой бело-голубой супнице, которая не использовалась по назначению, поскольку суп по тарелкам разливали прямо из кастрюли, где он варился. Супница входила в прелестный сервиз, предназначенный для повседневного пользования и изготовленный ещё до революции на фарфоровом заводе купца Кузнецова. Наташа, главная сластёна семьи, открывала импровизированную сахарницу, засыпала в рот большой серебряной ложкой песок и с наслаждением перемалывала его белыми зубами.

Однажды я оказалась вместе с ней возле *сахарохранилища*, и она поднесла мне ложку с песком. Сладкий, колючий, непослушный, он полез за щеки, посыпался в горло, запачкал все вокруг... Я закашлялась, подавилась, с трудом проглотила – мне не понравилось. С булкой и маслом вкуснее!

Отступление: игрушка Дюймовочка

Зимой не то 1954, не то 1955 года к нам в гости из Москвы приехал бабушкин муж Александр Николаевич Калинин. Маме и трем девочкам Александр Николаевич привез по коробке шоколадных конфет «Мишка на Севере». В продолговатой белой картонке, на которой чёрными штрихами был нарисован белый полярный медведь, лежало десятка два конфет, похожих на нынешние вафли в шоколаде. Конфеты стоили дорого, родители их не покупали, а Александр Николаевич, выйдя в отставку в чине полковника, получал приличную военную пенсию и мог позволить себе произвести впечатление на дочь и внучек любимой супруги.

Наташа съела шоколад сразу, едва открыв подаренную коробку. Я тоже взялась за своего «Мишку», попробовала – вкусно! Мне не хотелось тут же съесть остальное, и Наташа, как положено старшей сестре, отлично знакомой с повадками младших, наклонилась ко мне, заслонив от прочих домашних:

– Отдай, Маняшка, ты же больше не съешь.

Мне, и правда, было не до конфет.

Кроме сладостей я получила настоящую Андерсеновскую Дюймовочку. Восхитительную игрушку! На конце неболь-

шой металлической речки, выкрашенной в темно-зеленый цвет, находился плотно закрытый бутон с зелёными лепестками. Другой конец речки заканчивался кнопкой, соединённой со спиралькой. Когда на кнопку быстро надавливали несколько раз подряд, спираль сжималась, бутон начинал вращаться, его железные лепестки расходились в стороны, и внутри открывалась крошечная фигурка Дюймовочки, неподвижно стоящей в центре. Малюсенькая глиняная куколка: выкрашенное голубым платьице, жёлтые волосы. Я влюбилась в нее. Мелькали лепестки, крутилась металлическая чаша, заслоняя *крохотулечку* от бесцеремонных детских рук.

– Маша не трогай, тебе разобьёт пальцы!

Как я мечтала погладить ее! Немножко, чуть-чуть...

Мне не нужны конфеты, пусть их возьмёт Наташа.

– Маша, садись за стол. Положи Дюймовочку. Иди пить чай.

– Не хочу чая.

С тихим, едва слышным жужжанием лепестки разлетались в стороны. Я смотрела на замершую, испуганную девочку – может, это жужжат крылья большой чёрной жучихи, которую мы обе не жалуем? Вдруг она спикирует с потолка, украдёт Дюймовочку и утащит в жены своему противному жученку?

– Маша, сколько раз я должна говорить – мыться и спать!

Чай выпит, мама собирает посуду, складывает пустые картонки от «Мишки на Севере» – все съели по одной, Наташа

остальные. Александр Николаевич ушёл, обещал зайти перед отъездом, а бутон все крутится, крутится, и притихшая Дюймовочка терпеливо ждёт своей участи.

– Я тебе в тысячный раз говорю! Спать сейчас же!

Мама, за день невероятно усталая и к вечеру уже раздражённая, не выдерживает, хватает игрушку, с силой бросает на пол и каблуком топчет, топчет, топчет ее...

Искорёженные металлические лепестки разлетелись в стороны, спиралька отскочила и укатилась под кровать, глиняная куколка превратилась в горстку разноцветной пыли. Нечего даже погладить пальцем, как я мечтала.

Гадкая чёрная жучиха не уволочёт Дюймовочку к своему жученку. Толстая жаба и слепой крот не подкрадутся ночью к моей кровати. Легкомысленный эльф не дождётся суженой. Не прилетит Дюймовочка в страну эльфов. Ее больше нет. И никогда не будет. Ее растоптала мама.

Глава вторая: я, мама, бабушка, Мудровы

Себя маленькую помню чаще всего больной. Каждая скромная простудка, как только моё детское тельце просто-душно впускало ее переночевать, устраивалась в нем надолго, ни за что не собираясь покидать приглянувшееся гнёздышко. Она развёртывалась с размахом – *жаль, королевство маловато!* – забиралась во все отдалённые уголки моего организма и становилась отпетой хулиганкой. По ночам с восторгом барабанила в ухе какими-то острыми палками, обдирала горло наждачной бумагой и развешивала на нем бурые водоросли, забивала нос противными зелёными пыжами – как будто он был ружьём, с которым она собиралась на охоту. Если бы не мама, моё слабенькое тело пропало бы от непосильной борьбы с наглой оккупанткой.

Любую простуду, грипп или ангину мама прогоняла теплом, горячим молоком с малиновым вареньем, каплями датского короля от кашля, горчичниками, водочными компрессами и камфорными каплями в ухо. Она убаюкивала поселившуюся во мне заразу терпением и любовью, которые та принимала на свой счёт. Глупая болезнь нежилась, жмурилась, капризничала и таяла, таяла, таяла – пока от нее не оставались сопливые следы на моих платках и пустые фла-

коны от капель и пилюль.

Помню тепло маминого тела – наверно, я у нее на коленях – ее руки держат перед моим лицом книгу братьев Гримм «Горшочек каши». Бумага грубая, жёлтая, почти серая, но рисунки Конашевича славные, хоть и не цветные, а черно-белые. Жила-была девочка. Пошла она в лес за ягодами и встретила там старушку. Угостила девочка старушку спелой лесной земляникой, и старушка подарила ей взамен волшебный горшочек. Стоит только сказать: раз, два, три, горшочек, вари! И горшочек начинает варить вкусную, сладкую кашу.

– Манную? – Спрашиваю я.

– Манную, манную, ты же любишь манную, – отвечает мама. Ухо у меня

забинтовано, пахнет камфарой, спиртом, мне тепло и хочется спать.

– Каша ведь горячая, как они могут ходить по ней? – Удивляюсь я, пока мама укладывает меня в постель и подтыкает одеяло.

– На нее ветерок подул, и она остыла. Спи, – отвечает мама.

Из серьёзных болезней и операций случилось мне при маме пережить скарлатину и удаление гланд. Прививок от нее ещё не было, и скарлатина являла собой серьёзную болезнь, иногда с летальным исходом. У меня поднялась температура, заболело горло, трудно было глотать. Наверно, на второй

день появилась сыпь – именно по ней диагностируют заболевание. За мной, четырехлетней, приехала машина «Скорой помощи», меня укутали в одеяло, положили на носилки и задвинули внутрь медицинского фургона. В больнице я провела около месяца. Мама присылала передачи, в них были игрушки, карандаши, альбом для рисования и книжка «Дядя Степа». Михалкова я знала наизусть и читала стихи другим детям, вовремя переворачивая страницы. Когда выписывали, ничего не разрешили забрать – считалось, что вещи сохраняют инфекцию чуть ли не вечно, однако я почему-то знала, что их нагревают в специальном шкафу и потом возвращают играть детям, которые лежат на отделении.

Пока я обитала в стационаре, в квартиру на Марата приезжала бригада из санэпидстанции и облила дезинфицирующим раствором вещи, стены и полы в наших двух комнатах. Игрушки и книжки, до которых я дотрагивалась, больная, увезли.

– Они заразные, с ними нельзя играть, – позже объяснила мне мама.

Я маялась без любимой куклы – дочки-подружки тряпичной Любы, вымазанной йодом, зелёной и фиолетовыми чернилами. Любу мне подарили на Новый год, она лежала в большой картонной коробке рядом с записочкой — *Кукла Люба. Упаковица Иванова.*

Имя Люба мне очень нравилось. Мила в школе на детских праздниках замечательно читала стихотворение Агнии Бар-

то «Любочка».

Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.

Кроме героини стихотворения, тётёй Любой звали жену дяди Вити Перетти, куда мы с мамой часто ходили в гости. Она была закройщицей и портнихой дамского платья, шила на дому и, похоже, имела успех: бывая у Перетти, я много раз видела молодых женщин, приходивших на примерку.

В начале пятидесятых годов мама тоже пошла учиться шитью в Дом офицеров, и среди многочисленных образцов воротников, карманов и манжет, которые задавали на курсах, смастерила моей кукле Любе халатик, который легко снимался и надевался – немаловажный фактор при медицинской направленности моих игр.

Я с наслаждением раздевала куклу, и, изображая врача, прикладывала трубочку-стетоскоп к ее оголённому туловищу, ставила бумажки-горчичники на грудь и с упоением делала уколы в мягкую тряпочную попку. Стетоскоп, если не путаю, подарил мне один из *пользовавшихся* меня врачей.

Отступление: удаление гланд

Доктора были интереснейшей частью бурлящей болезнями жизни! Особенно я благоволила к врачам-мужчинам, которые обращались ко мне с вопросом: «Ну, как *мы* себя сегодня чувствуем?» Я совершенно не полагала, что это *мы* объединяет меня с доктором, и он, мол, спрашивает меня о нашем общем самочувствии. Напротив, я смутно ощущала, что обращение Мы заменяет уважительное Вы, с одной стороны не положенное мне по возрасту, а с другой, тем не менее, заслуженное мною благодаря болезням.

К пяти годам я переболела скарлатиной, несколько раз ангиной, и, чтобы стрептококковые инфекции не довели ребёнка до ревматизма, родителям посоветовали удалить мне гланды. Доктора, к которому меня повели, звали *ухогорлоносом*, и я заранее воображала симпатичного взъерошенного человечка с широким уплощенным носом – должен же он быть похож на животное *утконос*, иначе, зачем бы его звали почти так же?

– Открой шире рот. Скажи, *а-а-а-а-а* – обратился ко мне *ухонос*, примериваясь нажать плоской деревянной палочкой от эскимо на корень моего языка.

– Ох, какая молодец! Даже палочка не понадобилась. Держи в подарок, – протянул мне *горлонос* неиспользованную палочку и обратился к маме, – да-а-а, а гланды у нас, однако,

большущие... Надо оперировать.

– Это совсем не больно! – Уверял папа. – Мне тоже удаляли гланды и после операции дали целый килограмм мороженого.

– Растаявшего? – С недоверием взирала я на папу. Обожая мороженое, я пробовала его только в виде растаявшей и нагретой до комнатной температуры молочной лужицы. Одна из сестёр дала мне лизнуть краешек эскимо, и с тех пор я мечтала о замороженном сливочном счастье.

– Наоборот! Настоящего холодного-прехолодного мороженого! Всех сортов! —

Прищёлкнул языком папа.

– Мало того. После операции у тебя никогда не будет ангины, и ты сможешь часто лопать мороженое.

Замаячивший сливочный рай и серьёзное умное слово *операция* по отношению ко мне, маленькой и младшей в семье, заморозили меня. Я отправлялась в больницу, предвкушая интереснейшее приключение.

Меня усадили в высокое кресло с поднимающимся сидением и обернули белыми простынями, как мумию. Худые запястья и лодыжки привязали ремнями к подлокотникам кресла и перекладине внизу.

– Чтобы мы случайно не дёрнулись, – объяснил мне уже покоривший меня врач. Я не собиралась дёргаться, мне было ужасно интересно! Вот она моя вожаделенная *операция*!

– Шире рот... Молодец! – Хирург ловко вставил распорку

между моими зубами, не позволявшую сомкнуть челюсти. Слюна разом потекла из всех шести желез.

– Ничего-ничего, пусть течёт, – ободрил врач. Ассистирующая сестра промокала капавшую слюну марлевыми салфетками.

– Сейчас я попрыскаю тебе в горло, и оно чуть-чуть замёрзнет, хорошо? – Предупредил хирург. Я кивнула, радуясь сотрудничеству с доктором, бывшим со мной на Мы. Горло онемело, даже слюна перестала течь.

– Теперь я беру инструмент, – посвящал меня врач в детали операции. Передо мной появились блестящие, серебристые, по-видимому, ножницы с привычными кольцами для пальцев, но не с обычными прямыми концами, а как бы с двумя половинками еще одного кольца, гораздо более широкого и заканчивающегося острыми зубчиками. Ра-а-а-з! Хирург ловко всунул ножницы в распахнутый пятилетний рот, захватил в нем что-то, повернул, откусил зубастыми краями кольца и шмякнул в белую эмалированную почку кусок кровавого мяса.

– У-у у! Какая большая! – Удовлетворенно выдохнул он. Поток, как мне показалось, слюны, устремился внутрь горла, я захлёбывалась жидкостью. Ужасный интерес сменился ужасом пойманного в капкан ребёнка.

– Сейчас, сейчас! Потерпи, осталась ещё одна, – врач снова полез ножницами в истерзанный рот. Все удовольствие от приключения исчезло, было больно и хотелось выплюнуть

проклятую распорку, чтобы проглотить, наконец, жидкость, которой я давилась. Вторая окровавленная гланда упала из кольца ножниц рядом с первой.

– Все-все, прижём ранки, чтоб не кровоточили, и станет легче. Как много крови!

– Не глотай, выплюни, – сестра прижала к моему освобождённому рту белую хирургическую почку. Сплёвывать было больно. Глотать тоже. Я тихо плакала от обиды и обманутых ожиданий. Папе, наверно, никогда не вырывали железы, если он считает, что ЭТО не больно.

Мама сидела у моей кровати и ложечкой отковыривала кусочки желтоватого сливочного мороженого.

– Машенька, открой рот, ты же любишь мороженое! – Уговаривала она. Я пыталась лизнуть кусочек. Отменный сливочный вкус ласкал обиженный язык, но глотать не хотелось, и я отворачивалась от мамы.

– Ты так отважно перенесла операцию! Совсем не плакала. А теперь не хочешь проглотить мороженое? – Улыбнулся подошедший хирург. – Мороженое должно заморозить ранки, которые остались после удаления желез. Когда ешь мороженое, они заживают быстрее. Поняла?

Поняла и, хотя не простила врачу-*утконосу* обмана, который ощущала смутно и горестно, не умея объяснить почему, я открыла рот и проглотила несколько ложек мороженого.

Продолжение главы: я, мама, бабушка, Мудровы

Сидя дома с больной дочерью, мама постоянно что-то шила. Окончив курсы кройки и шитья, она надеялась стать домашней портнихой, чтобы как-нибудь облегчить финансовое положение семьи.

Совет научиться шитью маме подала тётя Люба, которая будучи домохозяйкой, давно и успешно шила на заказ женский *конфекцион*.

В ее квартире на Маяковского стоял чёрный манекен – я побаивалась его, представляя, как будет неприятно, когда он молча шагнёт ко мне. Иногда, стоя рядом с мамой, я с восхищением следила, как ловкие руки тёти Любы укладывали на чёрном теле манекена кусок красивой материи, закалывали его булавками, и вместо безголового тулова возникала фигура женщины в нарядном платье. После того, как мама пошла на курсы шитья, у нас на Марата поселился близнец тетилюбиного манекена. Его я опасалась чуточку меньше, все-таки он был нашим – ручным домашним болваном. Я даже булавки в него втыкала! И он ни разу не ойкнул. Правда, без мамы я все же старалась не проходить вблизи от него – вдруг он захочет пойти за мной? И лишь когда мама оставляла на манекене раскроенное платье, преобразившее надменное тулово

в подобие человека или в объёмную вешалку для одежды, я переставала его бояться.

Кроме манекена в портняжном хозяйстве мамы было ещё одно существо, с которым у меня сложились собственные отношения. В швейной машине «Зингер» тонкая деревянная фигурка, напоминавшая скульптуру Джакомоетти, соединяла педаль с маховым колесом. Почему-то я была убеждена, что эта прикреплённая к железным частям машины деревянная деталь и есть *Зингер*. Единственная нога человечка упиралась в педаль, руки с двух сторон утолщённой и закруглённой головы-балясины – во втулку махового колеса, и, когда мама жала на педаль, *Зингер* быстро-быстро скакал на тонкой ноге, крутя перед собой большущее колесо. Машина стучала, гремела, татакала пулемётом, и, сидя на маленькой скамеечке, я заморожено вглядывалась в отчаянную скачку кавалериста. Закончив шитье, мама высвобождала приводной ремень и разрешала поиграть с *Зингером*. Я осторожно нажимала на педаль или, наоборот, тихонечко трогала колесо – *Зингер* послушно дёргался вслед, медленно и лениво. Я изо всех сил раскачивала педаль, он убаюкивал бег, но ненадолго, не желая лететь и скакать, как с мамой.

Обычно «Зингер» стоял у стены тёмной комнаты: мама укладывала меня и Милу спать, а сама портняжила и строжила на швейной машине до поздней ночи. Однажды утром «Зингер» почему-то оказался придвинутым почти к самой двери в коридор. Мама что-то дошивала – на откидной доске

швейной машины лежало несколько больших полотен красного цвета, к краям которых мама приторачивала широкую чёрную ленту. *Зингер* летел, тархтя пулемётом, мама строчила вдогонку за ним. Она ловко толкала под иглу красное полотно с чёрной лентой, дострочив до угла, поворачивала его, неслась по прямой, останавливалась и высвобождала из-под лапки очередной красно-чёрный кусок ткани, который бросала к таким же готовым, лежащим на стуле. Потом доставала из обшлага рукава носовой платок и подносила к лицу. Я встала с другой стороны «Зингера» и обнаружила, что мама плачет. Я тоже заревела.

– Маша, не плачь. Иди, поиграй с Любой, – высморкалась мама. – Я скоро.

За окном ещё было темно. В коридоре кто-то пробежал, остановился у нашей двери, постучал. Замотанная в платок дворничиха протиснулась сзади мамы.

– Готово? – Выдохнула она.

– Почти. Осталось три флага. Через десять минут закончу, – не осаждая *Зингера*, ответила мама. Дворничиха схватила гору полотен.

– Щас вернусь. Отдам Василичу, пусть с Пашкой вешают. У мамы с лица скатывались слезы.

– Сталин умер, – пробормотала она. – Что теперь с нами будет?

Я заревела ещё громче.

Сообщение о смерти Сталина не могло потрясти меня. Я,

конечно, знала, что он – вождь: повсюду висели его портреты, Мила в школе учила про него стихи, а я всегда запоминала слова, которые она заучивала. Но мне было четыре года, я росла дома – не посещала детский сад, поэтому имя *Сталин* для меня не имело смысла, как, впрочем, и слово *смерть*, а от того, что плакала мама, – от этого было по-настоящему страшно!

Отступление: кукла из Германии

Заработать шитьём маме не удалось. В основном, она обшивала себя и нас. Ткани привозила из Берлина мамина сестра тётя Наташа.

В самом начале пятидесятых годов ее муж Тихон Федорович Мудров был переведён в Ленинградский военный округ, откуда его с семьёй послали на несколько лет в штаб советских оккупационных войск в Берлине. Тётка (в каждой семье какую-нибудь тётю рано или поздно начинают величать тёткой) привозила из Германии роскошные по тем нищенским временам шмотки!

Мне тётка привезла две куклы. Одну, целлулоидного пупса женского пола – пол подтверждали девичьи черты лица и целлулоидная причёска *a la фрейлейн Гретхен* – я получила вскоре после изъятия эпидемиологической службой моей незабвенной куклы Любы. Немецкую *пупсу* – а как сказать, если она женского пола? – я назвала Леной. Мама придела ее в такое же весёленькое платьице, как у нас с Милой, и я играла с куклой в *дочки-матери*. Играть в *больницу* с ней было невозможно – твёрдый пластмассовый зад не поддавался уколам. Вероятно, поэтому я любила ее меньше изъятой Любы.

Вторая заграничная кукла была из разряда знаменитых немецких фарфоровых кукол, но, разумеется, рангом пони-

же – иначе б за нее пришлось заплатить целое состояние! Фарфоровой она была лишь частично – голова, ноги и изящные кисти рук с кокетливо оттопыренными пальчиками. Туловище (чуть не написала *тело*) и руки от кистей до плеч были сделаны из ткани и набиты ватой. На голове куклы вились настоящие волосы рыже-каштанового цвета и открывались, и закрывались глаза с длинными чёрными ресницами. Наряжена кукла была в роскошное ало-голубое атласное платье, надетое на шелковую рубашечку и украшенное белыми кружевами и крохотными пуговками. Из-под подола выглядывали кружевные панталоны, а фарфоровые ножки нежно-персикового цвета были обуты в кожаные туфельки поверх голубых носочков. Что и говорить, кукла предназначалась девочке из очень состоятельной семьи!

Из любви к семейному имени и уважения к конкретной дарительнице куклу окрестили Наташей. Ее посадили на кровать среди подушек, чтоб она не упала, и разрешили мне посидеть рядом.

– Машенька, потрогай Наташу, но не носи ее к себе на подоконник! Играй на кровати. Ты можешь ее разбить. – Сказала мама.

– Нельзя давать ее Маше, она живо выкрасит куклу йодом и наделает ей уколов! – Добавила бабушка.

– Да вы что! Знаете, сколько она стоит? Я не выдержала, купила, такая красота! У меня же одни мальчишки, – засмеялась тётка.

Наташу поселили в шкафу в большой картонной коробке, в которой она приехала из Германии. Изредка куклу водружали на кровать и разрешали посидеть возле нее в присутствии сестёр или кого-нибудь из взрослых. Я и сама понимала, что Наташа – кукла не для игры, а для лицезрения, осторожно брала ее на колени и наклоняла взад-вперёд: фарфоровые веки поднимались, чёрные изогнутые ресницы взлетали, и темно-синие стеклянные глаза бесстрастно смотрели вдаль, не фокусируя взгляда.

Для меня она так и не превратилась в игрушку, оставшись символом далёкого, богатого и благополучного мира, который то ли существовал на самом деле, то ли нет...

Продолжение главы: я, мама, бабушка, Мудровы

В 1955 году Мудровы вернулись из Германии и, получив две комнаты в новом добротном кирпичном доме, поселились на улице Детской недалеко от Гавани на Васильевском острове. В большой трехкомнатной квартире на четвёртом этаже у них было две комнаты, каждая метров по двадцать. Маленькой мне казалось, что семья тётки Наташи живёт роскошно! Из Германии они привезли немецкую мебель и на продажу – пианино из светлого дерева. Пианино какое-то время стояло в одной из комнат и придавало жилищу Мудровых одухотворённость, исчезнувшую вместе с проданным инструментом.

В застеклённом полированном серванте красовались умопомрачительные сервизы: чайный китайский, обеденный саксонский и для вина – красно-белый из венецианского стекла с фигурками женщин, поддерживающих чаши. Немыслимой красоты и, похоже, стоимости!

Мама и тётка Наташа были дружны, и, когда Мудровы появились в Ленинграде, тётка часто бывала у нас, а мы у нее. Ее старший сын Шурка дважды жил в нашей семье по целому году.

В первый раз тётка привезла его в Ленинград из Благове-

щенска-на-Амуре в году пятидесятом-пятьдесят первом.

Двоюродному брату было лет одиннадцать-двенадцать, характер живой,

деятельный, энергии переизбыток, поэтому буянил он с размахом дикого неодомащенного ребёнка. Маму вызывали в школу, жаловались, что Шурка с ещё одним жеребёнком *обоссал* все стены уборной – состязались, кто выше *сикает*. Ей бы спросить – кто ж победил? – но сил и лёгкости не хватило. Своих девочек воспитывать проще.

Бабушка жила с нами, хватала ремень, но Шурка ее не боялся, выворачивался из женских рук, и назавтра маму опять вызывали в школу попенять за его свершения.

Обратно в Благовещенск-на-Амуре Шурку возвращал папа, которого чуть ли не специально послали в командировку на Дальний Восток, дабы избавить семью бесценного специалиста от проделок новоявленного вождя краснокожих.

Во второй раз Шурку прислали к нам, когда Мудровы жили в Германии. Он окончил в Берлине восемь классов, дальше дети советских военнослужащих уезжали доучиваться на родину. Шурка жил у нас зиму 1954-1955 годов, учился в девятом классе.

Отступление: папа и Шурка

Папа Шурку очень любил. Ему не хватало сына, о котором он мечтал всю жизнь. Их привязанность была обоюдной. Дядя Мома! Дядя Мома! – Резонирует возглас с Шуркиной интонацией. Отец любил разговаривать, вернее, рассказывать, вещать, и чтобы слушали внимательно – внимали. А с Шуркой никто до папы не разговаривал, ничего ему не рассказывал, поэтому парня заворожили рассказы о тайге, изысканиях, путешествиях. До восьмого класса Шурка даже книжек не читал – дядька Мома открыл ему мир, где были востребованы сильные характеры и настоящая мужественность.

Летом отец взял племянника в экспедицию куда-то в Сибирь, и Шурка влюбился в поле! Осенью вернулся к родителям, и те изумились, как изменился парень. После школы Шурка поступил в Горный институт, и папа гордился этим. Ещё бы! Шурка шёл по зарубкам, намеченным дядей Момой. Племянник жены, ставший почти что сыном!

После окончания института ему предложили остаться в аспирантуре. Он пришёл к дядьке посоветоваться. Поступить в аспирантуру означало стать кандидатом наук, доктором, возможно, профессором – по мнению отца – слишком быстрая карьера для недавнего шалопая. Ты ее заслужи, аспирантуру! Погорбать в поле, потопчи землю ногами, докажи людям, на что способен...

– Со свиным рылом в калашный ряд? – Усмехнулся отец.

Шурка развернулся, вылетел вон, отказался от аспирантуры. Защитив диплом, он с женой, как и он, закончившей Горный, улетел в Магадан на золотые прииски. Он вступил в партию, стал главным инженером крупного месторождения, сделал карьеру – отец старался следить за ней.

В Ленинград молодые Мудровы приезжали редко. После второй женитьбы отца мы с ними почти не виделись, как, впрочем, и с теткой. Папа переживал, винил одного себя, но не пытался помириться с племянником.

– Почему? – Как-то спросила я.

– А он не простит, – ответил папа.

– Откуда ты знаешь? – Усомнилась я.

– Такие слова не прощают, – покачал головой отец.

Тогда я не знала, что в юности он не простил двоюродной сестре унижительных слов и навсегда! – боже мой, навсегда! – порвал родственные связи с кланом Вязьменских.

Простил он себя когда-нибудь за брошенное в запале Шурке? Надеюсь, простил, я знаю, прощать необходимо всегда, особенно, себя самого. Прощать, чтобы радоваться прожитой жизни, вспоминать ее всю и принимать такой, какой она была. С ошибками и падениями.

Несколько лет назад мы с сестрой Наташей побывали у Шурки. Ему было шестьдесят шесть лет. Он был стар, сед, перенёс инсульт. Сидел на кухне на сундучке, с трудом двигался, опираясь на палочку. Рука висела парализовано, но он

улыбнулся мгновенно и щедро, как в детстве, и прижал меня к небритой щеке, и мы оказались с ним в едином пространстве жизни – старые кровники с переплетающимися корнями.

– Шурик, ты помнишь, почему был обижен на нашего отца? – Не удержалась я.

– На дядю Мому? – Переспросил Шурка. – Я никогда не обижался на него.

– Да? А папа всегда считал, что обидел тебя, и ты не простил ему резких слов, – я пыталась поймать невысказанное на постаревшем лице брата.

– Не помню, не знаю, – повторил Шурка. Он действительно не знал, о чем я.

– Почему ты не звонил ему? Не встречался?

– Жили в Магадане. Редко приезжали сюда. Жизнь развела, – отмахнулся он.

Знаешь, папа, я поверила Шурке. Он не помнил твоего *калашного ряда*, он выстроил свой – с иными калачами, пирогами, сбитнем. Но дорогу туда указал ему ты, и он по-прежнему называет тебя дядей Момой.

Продолжение главы: я, мама, бабушка, Мудровы

Кроме Шурки у нас часто гостила бабушка, наезжая из Москвы. Бабушка овдовела в пятьдесят один год, не имея жилья и средств к существованию. Обе дочери звали ее жить с ними, но обеих содержали мужья, а оказаться на иждивении зятя бабушка не желала. Только что правила в собственном доме, руководила мужем, семьёй, а тут идти в чужой монастырь...

После смерти деда бабушка уехала в Москву к давнему поклоннику – Александру Николаевичу Калинин. Он тоже был вдов и в придачу к руке и сердцу предложил прекрасной Евгении военную пенсию и жилплощадь в столице. Знакомы они были по Ташкенту. Чуть ли не против дома Бочарниковых находилось военное училище, которое готовило лейтенантов для Красной армии. Молодые курсанты, среди них Тихон Мудров, поголовно влюблялись в юную Наташу Бочарникову – тётка и впрямь была ярко и броско красива, а офицеры постарше, преподававшие или руководившие училищем, отдавали должное величавой красоте ее матери, Евгении Александровны.

Летом не то пятьдесят третьего, не то пятьдесят четвертого года мама поехала в Москву и взяла меня с собою. Ноче-

вали мы у кого-то другого, а днём гостили у бабушки. Они с Александром Николаевичем жили в центре Москвы в новом сталинском доме в большой светлой комнате, которую отставной полковник получил, выходя на пенсию. Посредине комнаты от двери до окна мелом была проведена жирная линия.

– Разве дома можно рисовать классики? – Простодушно поинтересовалась я.

– Это не классики, – улыбнулась бабушка. – Мы с Александром Николаевичем поделили комнату пополам. Это сторона моя, а вот та – его. Не заходи туда, пожалуйста. Ходи здесь, – велела она.

– Ходи, где хочешь, Машенька, и там, и здесь, – вмешался Александр Николаевич. – Иди сюда!

Я посмотрела на обоих, на молчавшую маму и пошла ровнёшенько по меловой полоске, стараясь ставить ступню за ступней прямо на линию. Трое взрослых заворожено следили за экзерсисом ребёнка.

– Хочешь банана? – Спихватилась бабушка.

Никогда не виданный мною фрукт смешно очищался от кожицы – р-а-а-а-з, оставалась голенькой белая серединка, немного упругая, прохладная и сладкая. Вкусно!

– А смотри, какие конфетки у меня есть! – Бабушка протягивала на ладони несколько белых малюсеньких горошин. Я осторожно взяла одну.

– Бери все, они полезные, – настаивала бабушка.

Горошина мне не понравилась. Она не походила на конфету, к тому же бабушкино словечко *полезные* легонько подмигивало, что вместо сладости мне подсовывают таблетку или что-то лечебное.

– Выпьешь их – станешь сильной здоровой девочкой, – не отставала бабушка. Тут уж совсем понятно, что ничего в них вкусного нет.

– Мама, Маша не хочет. Оставь ее, – сказала моя мама своей.

– Таня, гомеопатия не повредит. Надо только пить регулярно, по часам, – упорствовала бабушка.

– Лучше пойдём на Красную площадь, – решила мама. – Погода отличная!

Красная площадь была без конца и края, пятилетнему ребёнку взглядом не охватить. Посреди площади стоял Мавзолей, там Ленин со Сталиным лежали, и очень хотелось посмотреть на них.

– Нет, – сказала мама, – видишь, какая очередь? Невозможно стоять на улице целый день. Мы приедем сюда в другой раз. Когда ты станешь постарше.

Но мама ошиблась. Ни она, ни я никогда в Мавзолею не побывали. Кроме как в пятилетнем возрасте, я никогда не стремилась взглянуть на мощи вождей, а маме больше не довелось побывать в столице.

Назавтра упрямая бабушка опять угощала меня бананом. Я надкусила белую сладковатую плоть, и язык наткнулся на

давешние гомеопатические горошинки. Я молча выплюнула изо рта разжёванную массу.

– Это семечки банана, – воскликнула бабушка, – их можно глотать! Зачем же ты все выплюнула?

Но бабушка была родной, при ней позволялось выплюнуть в ладошку, что я не в силах была проглотить! Я помнила наставления мамы...

Наша семья симпатизировала бабушкиному второму мужу. Великая Отечественная война закончилась недавно, и уважение, которое испытывали к военным в Советском Союзе, было незыблемо. Александр Николаевич вышел на пенсию в звании полковника и, несмотря на то, что сам не принимал участия в боевых действиях, а только руководил военным училищем в тылу, без подготовленных им лейтенантов, победу, возможно, завоевали бы, скажем, на неделю позже. Согласитесь, семь дней мира вместо недели кровопролитнейшей в истории войны стоят неимоверно много, так что Александр Николаевич честно заслужил почтение окружающих!

В своей светло-серой полковничьей форме с каракулевым воротником и такой же папахе с красным околышем Александр Николаевич выглядел по-настоящему импозантно. Папа безмерно уважал его и ненавязчиво сочувствовал. Мама принимала приветливо и радушно. Но... (и лично к нам это не имело отношения) бабушке *трудно* с ним было жить. *Трудно* – деликатный эпитет для жизни пятидесяти-

летних с гаком людей, обитающих в общем пространстве одной единственной комнаты, разделённой мелом, как классная доска во время контрольной работы.

Бабушка была ровным и спокойным человеком. Мы с сёстрами никогда не слышали, чтобы она разговаривала громким голосом. Тем не менее, бабушка тоже, была полковником. Тихим, непреклонным полковником. А, когда у двух полковников нет ни одного рядового, то кем им командовать?

Из размелованной комнаты бабушка уезжала к дочери в Ленинград. На Марата отдельной кровати для нее не было, и бабушка спала вместе со мной, младшей внучкой. Отец болел туберкулёзом в открытой форме, к тёще относился с сарказмом, едва-едва заслонённым инжирным листком – ох уж этот Мом, бог иронии и насмешки! – и бабушка предпочитала приезжать летом, когда зять отправлялся мерить шагами и теодолитом сибирскую тайгу.

Два лета в начале пятидесятых годов бабушка ездила вместе с нами в деревню Волосковичи, что находится в Лужском районе Ленинградской области.

Мне было года три, и подробности летнего отдыха я почти не помню, но название Волосковичи вызывает такую нежность и грусть у моих старших сестер, что за долгие годы и я научилась чувствовать то же самое.

Волосковичи – я сижу в зеленой траве, а чьи-то руки протягивают мне букетик спелой земляники.

– Держи! Правда, красиво? Ешь красные ягодки, зеленые не надо.

– Мила! Не давай Маше неспелую землянику, – раздается голос мамы.

– Вот. Ешь. Эти можно. – Мамина рука, полная исчерни-красных ягод, протягивается ко мне. Я опускаю лицо в ее ладонь и губами по ягодке втягиваю в себя сладкое духовитое чудо...

Волосковичи – серый с большим желтым клювом гусь, шипя, надвигается на меня. Я одного с ним роста, и он вот-вот защиплет меня до смерти или унесет на крепких крыльях в дальний лес к Бабе-Яге. Как мальчика из сказки.

– А-а-а-! – в ужасе кричу я. Гусь, наклонив голову и припустив крылья, берет разгон. Мама выскакивает во двор и полотенцем отгоняет вояку, который опасно ретируется, и, возмущенно гогоча, пытается объяснить, что он охраняет свой дом и гусынь с гусятами, а всякие сопливые девчонки, невесть откуда взявшиеся, того и гляди, обидят его семейство...

Волосковичи – какая-то невысокая женщина залезает внутрь большой русской печки, а мамины руки, заслоня мне голову от черной сажи на своде горнила, протягивают меня, голенькую, туда, к ней. В печке жарко, нечем дышать, и – страшно! Женщина сажает меня в таз с горячей водой, который стоит внутри, и мылит, моет, трет мое рахитичное тельце. *Моем, моем трубочиста, чисто- чисто, чисто-чи-*

сто, пока моя кожа не начинает скрипеть под ее пальцами.

– Ну, иди к мамке, – наконец отпускает она.

– Пригнись и вылезай осторожно. Здесь сажа, – предупреждает мама, заглядывая в горнило и протягивая руки, чтобы принять меня.

– Ой, все же запачкалась, – сетует она и ставит меня в деревянное корытце, чтобы ополоснуть теплой водой из берестяного ковшичка.

Бабушка и мама, выросшие в собственном доме, окружённом садом, огородом, землёй, после войны лишившись ташкентской усадьбы, тосковали в больших городах вдали от природы. Спокойное неторопливое лето, проведённое в деревенском доме с тремя дочками-внучками, было обеим в радость. Ещё одной причиной, по которой мама предпочитала не оставаться в Ленинграде без мужа, а спрятаться с детьми в глухомани, подальше от места прописки, был страх: мама смертельно боялась депортации семьи на Дальний восток.

В стране шла очередная компания охоты за ведьмами. На этот раз Сталин объявил *ведьмами* лиц еврейской национальности – космополитов, как их официально обозвали. Убиты, арестованы и изгнаны с работы были многие евреи. В конце сороковых годов районный комитет партии, отвечавший за антисемитские репрессии в ТЭПе, потребовал от руководства института уволить Вязьменского. Однако отец был первоклассным специалистом и, на счастье, именно в

Этот момент оказался необходим начальству, цитирую по его воспоминаниям – «для изысканий северного варианта пяти-соткиловаттной трассы Москва—Куйбышев, который являлся секретным объектом Г.».

О том, что мама боялась депортации из Ленинграда, я знаю от папы, но, если он знал какие-то подробности, то предсказать будущее, уготованное евреям, мог без труда. Стоило сопоставить проводимую антисемитскую компанию с недавними депортациями немцев Поволжья, крымских татар, ингушей и чеченцев.

Жене он сказал: «Таня, надо быть готовыми к переезду», – но подготовиться к депортации в Тьмутаракань с маленькими детьми, мне кажется, невозможно. В отличие от мужа, мама чувствовала, что предстоящая ссылка не будет похожа на Момины экспедиции. *Командовать парадом* будет совсем не он!

К счастью, массовая высылка евреев осталась невоплощенной страшилкой Сталина. Кроважидные планы диктатора осуществить не успел. Он умер, когда евреи праздновали Пурим – праздник победы над злодеем Аманом, желавшим гибель еврейскому народу.

Осенью пятьдесят пятого года я поступила в первый класс 212-й школы, где учились старшие сестры, и учебный 1955-1956 год был единственным, когда мы втроём одновременно были школьницами. Первый, пятый и десятый...

Мила перешла в пятый класс, где каждый предмет препода-

давал отдельный педагог, а Лариса Ксенофонтовна Полякова, у которой сестра училась в начальных классах, стала моей учительницей.

Учиться я обожала, и первыми оценками были пятёрки. Подводило чистописание, предназначенное научить нас писать аккуратно и красиво: в то время писали перьевыми ручками с чернилами, и не умевший пользоваться ими был обречён марать окружающий мир жирными грязными кляксами.

Сначала мы писали карандашом в тетрадях для первого класса, где прямые строчки на равном расстоянии пересекались косыми линиями, так что буквы полагалось вычерчивать параллельно им. Но нет! Еще не буквы! Прежде мы выводили нескончаемые ряды палочек и крючочков, которыми заполняли многие страницы тетрадей, пока Лариса Ксенофонтовна не позволяла отвердевшей руке объединить оба элемента в какую-нибудь букву М. *Мама моет раму.*

Овладевшему карандашной каллиграфией ученику разрешалось принести пенал с перьевой ручкой и чернильницу-непроливайку. Какой был праздник: «Завтра я буду писать чернилами!» Отличница отличницей, а уже многие ребята писали чернилами, когда Лариса Ксенофонтовна снизошла до моих буквочек и разрешила заменить карандаш ручкой.

Глава третья: бабушка живет с нами

В начале пятидесят шестого года к нам приехала бабушка – заболела, попала в больницу мама, и бабушка вместо нее обихаживала семью дочери.

Меня бабушка очень любила, и я всю жизнь помню лучики вокруг ее глаз, когда она, улыбаясь, взглядывала на меня поверх очков.

Я, семилетняя, сижу на маленькой табуреточке у бабушкиных ног, смотрю, как она из разноцветных клубочков вяжет что-то цветное с полосками, и слушаю:

– Однажды на углу Невского я купила эскимо и дала тебе лизнуть его. С тех пор, когда мы проходили мимо, ты брала ладошками мою голову и поворачивала ее в сторону мороженщика, – рассказывает бабушка.

– Я, что, была у тебя на ручках? – Поверить в сказанное почти невозможно.

– А как же? Схватишь ладошками мои щеки и стараешься повернуть голову к мороженому, купи, мол, – губы бабушки ползут в стороны.

Неужели и правда, я была такой маленькой, что бабушка сажала меня не только на колени, но несла на руках по улице... Мы обе молчим.

– Бабушка, – смотрю я на ее тонкие руки с сухой пергаментной кожей в россыпи коричневых пятнышек и спрашиваю, как в «Красной шапочке»:

– Почему у тебя столько точек на руках?

Бабушка откладывает спицы, и мы вдвоём рассматриваем звёздную карту ее рук.

– От старости, – говорит она и опять берет спицы в руки.

– Что ты вяжешь, красивое, бабушка? – Опять спрашиваю я.

– Скоро увидишь, недолго осталось, – кивает она и улыбается мне морщинками вокруг голубых глаз, сухими краешками губ...

Связанная бабушкой разноцветно-полосатая вещица оказалась симпатичным бело-красно-желто-зелёным свитером, удивительно украсившим мою худющую статью.

Последнее лето с бабушкой мы провели в пятьдесят шестом году на строящейся даче дяди Вити, ее родного брата, в посёлке Усть-Нарва.

Высокий, интересный, представительный мужчина, Виктор Васильевич Перетти, был под стать своей красавице сестре, обладал прекрасным баритоном и пел в хоре Ленинградского академического малого театра оперы и балета. В обычной жизни голос его гремел, но для сцены, видимо, был маловат, и сольных партий дядя Витя не исполнял. Помимо голоса и внешности он имел золотые руки мастера и дом в Усть-Нарве построил сам.

В двух готовых комнатах строящейся дачи жили тётка с младшим сыном Андреем, и мы с Милой и бабушкой.

На песчаной почве Усть-Нарвы сосны растут вперемешку с клёнами, липой, берёзой. В июле на пригорках, заросших травой, вылезают тугие скользкие маслята. Год был богат на грибы! Мы с Милой или тёткой обходили полянки почти рядом с домом и набирали по целой корзинке. С маслятами хорошо, кучно растут! Заметил один – неподалёку в траве соберёшь целую дюжину! Бабушка учила меня чистить грибок, не спеша.

– Ножку скобли, отрезай самый краешек, если чистая, без земли и песка, не кромсай ее. Поддевай, поддевай ножичком пленку на шапочке. Теперь тяни ее потихонечку, не рви, она вся, как чулочек, снимется.

Светло-жёлтенькие голенькие маслята выскользывали из рук в кастрюльку. Бабушка жарила их с луком на сковороде до золотистого цвета, добавляла немного густой сметаны и протягивала мне тарелку грибов с ломтем свежего хлеба.

А в августе пошли опята. Они росли на пнях в невообразимом количестве! Коричневатые, бежевые, жёлтые, как пряди рыжего парика, грибы торчали на пне во все стороны, превращая того в смешного дурашливого клоуна.

– Видишь, как опята растут из одной пяточке? Не выламывай их, аккуратно срежь снизу ножичком, – учила бабушка. – Не порушишь грибницу, на будущий год снова вырастут грибы. Выдернешь корешочки, не сумеют оправиться

они, не дадут урожая, – приговаривала она, нарезая опята.

Я смотрела, как грибы прыгают в масле на сковороде, ссыхаются, уменьшаются, становятся хрусткими.

– Возьми корзинку, пройдишь по дворам, может, отыщешь пенёк, который вчера не заметила, – отрывала бабушка меня от книжки.

С удлинённой плоской корзинкой я обходила неогороженные дачные участки и натыкалась на очередной усыпанный опятами пенёк.

Отступление: история про чернику

Однажды тётка купила ведро черники, чтобы вволю поесть и сварить варенье. За ягодами нужно идти в лес, собирать внаклонку целый день, а тут принесли тебе в дом, заплатил за них, наслаждайся и ешь, хочешь, с сахаром, с молоком, хочешь, просто так. Мила, тётка, Андрей, бабушка и я сидели во дворе вокруг большого стола, перебирали рассыпанную в центре чернику и клевали ее по ягодке. Приехавший после экзаменов Шурка то ли валялся на раскладушке, то ли помогал дяде Вите под машиной, но за столом его не было. Тётка споро и чисто нагрела две тарелки, поставила одну передо мной, другую перед Андреем.

– Манюня, тебе с чем? – Тётке нравилось называть меня прозвищем дрессированной таксы клоуна Карандаша.

– С молоком или сахаром?

– С молоком и сахаром, – ответила за меня бабушка.

– Манюнька сама не знает, – засмеялся Андрюшка, – не умеет говорить! Ха-ха-ха!!!

– С молоком и сахаром, – твердо сказала я. – Бабушка знает, как я люблю.

– А ты будешь? – Спросила тётка Милу.

– Не-а! – Ответила сестра. – Я потом. Когда кончим.

Андрей хлюпал молоком и, не закрывая рта, жевал чернику.

– Вотерлифт, – произнесла Мила, скатывая чистые ягоды в тарелку, а листья и мелкий лесной мусор в берестяной туесок. Андрюшка не понял сказанного, он же не жил с нашим папой.

– Тише ешь, не чавкай! Тебе же внятно говорят, – объяснил младшему брату подошедший Шурик. Он-то не понаслышке был знаком с дяди Моминым *вотерлифтом*.

Андрей приподнял голову от тарелки:

– Чего пристал! Тебя не спросили!

– Противно ешь, вот чего! – Ответил Шурка.

Мы с Андрюшкой доели чернику, и тётка унесла тарелки.

– Нечего валандаться! – Взглянула она на меня, – поели, теперь помогайте перебрать остальное!

Я перекатывала чистые ягоды в сторону Милы, а мусор сгребала в ладошку, чтобы высыпать в туесок. Андрей, нехотя, выбрал несколько ягод из середины кучи, посмотрел, куда бы их деть, и, ухмыльнувшись, засунул в рот. Все промолчали. Тогда он руками провёл в чернике две борозды от себя к центру, и получившийся сектор провозгласил своим.

– Сделаю это и больше не буду! – Объявил он. И опять никто не прокомментировал его заявление.

Бабушка быстро перебирала ягоды, отделяя их от мусора. Иногда какую-нибудь черничину она вкидывала в рот.

– Вкусная, – удовлетворенно заключала она или, – спелая.

Все молчали. Вдруг она, озорно улыбнувшись, схватила черничину из владений Андрюшки и положила на язык.

– Эх, хороша ягодка у Андрюши! – Подзадорила она внука.

– Моё! – Неожиданно взревел он. – Не цапай мои ягоды, старая ведьма!

Шурка враз оказался у него за спиной. За шиворот выдернул из-за стола:

– Что ты сказал, змеёныш? А ну, проси прощения у бабушки!

– Не буду! – Заорал Андрюшка, – чего она ворует мои ягоды? Сама не платила, а ест! Мама мне их купила, а они тут все объедаются!

Шурка, до того побелевший от ярости, вдруг неожиданно повеселел. Хохотнул коротким знакомым смешком.

– Тебе, говоришь, купила? А ну, мать, бабушка, Мила с Машей, брысь из-за стола! Садись, Андрюха! Вот. Ешь. Твоя ягода. Вся твоя! Тебе же куплено! Для тебя одного плачено! Садись, ешь! Пока все! до последней ягодки! не съешь! не выпущу тебя отсюда, – он говорил внятно и с расстановкой.

– Шурик, оставь его, – попробовала вмешаться тётка, – ребёнок не понимает, что говорит. Пусти его. Он больше не будет!

– Иди, мать, отсюда, иди! Сказал же, – жёстко улыбаясь, потребовал Шурка.

– Сейчас он поймёт. Повзрослеет. Оставь ягоды, мать! Он их сейчас есть будет. В другой раз варенье сварить!

– Не бу-у-у-ду!!! – Почти завизжал Андрюха.

– Будешь! Куда ты денешься, – вытащил Шурка ремень.

– Пойдём, пойдём отсюда, – потянула бабушка меня в дом, – пусть их.

До поздней ночи Андрей сидел за столом. Шурка с ремнём караулил рядом, не давал приблизиться матери. Мы тоже не подходили. Мне казалось, я вижу, как давится черникой Андрюшка, как его рвёт ею, как мать уносит его в комнату, как старший брат идёт следом... Было совсем темно.

Продолжение главы: бабушка живет с нами

Бабушка меня любила, а Андрюшку нет – с ним никто не мог совладать. А он невзлюбил меня.

Во-первых, мы редко встречались, друг друга почти не знали – до прошлого года Мудровы жили в Германии, теперь мы впервые оказались с ним вместе на даче.

Во-вторых, его мать, тётя Наташа, откровенно меня не любила, не утруждаясь это скрывать: я была тощей, болезненной, с громадными глазами и острым носом на худеньком лице и не вызывала у нее ни малейшей симпатии.

– Ты, Манюня, прямо Кощей бессмертный, – смеялась она, а Андрюха вторил,

– Кикимора болотная! Маню-ю-нь-нька!!!!

Однажды он подстерёг меня и, оглянувшись, нет ли кого поблизости, выпалил торжествуя и злорадно: «Твоя мать сгнила! Ее черви съели!»

Во мне замерло сердце, остановилось дыхание, исчезли мысли, и мир замолчал вокруг. Скажи он это через год, я бы заплакала безутешными слезами осознающего сиротство ребёнка, как плакала на даче в ТЭПовском детском саду, когда один мальчишка, разозлившись, что я выбрала в пару не его, а другого семилетнего кавалера, выпалил в отместку страш-

ные слова о моей умершей маме. Я тогда заметалась в отчаянии, зарыдала, давясь и захлёбываясь, и дети испуганным выводком застыли кругом.

– Ах, ты!!! – В исступлении закричала воспитательница, которая и меня-то, девятилетнюю, взяла отдыхать с детсадовской мелюзгой, оттого что до боли сочувствовала Моисею Борисовичу, оставшемуся вдовцом с тремя дочками на руках.

– Снимай трусы, – неистовствовала она. – Снимай, говорят! Становись голым перед всей группой, жестокосердная тварь!

И отчаянный плач бедного Толика, заглушивший мои рыдания. Бедолага не мог предвидеть, что сказанное им вызовет такую бурю.

– Я не буду, я больше не буду! – Взывал он, вцепившись в резинку синеньких трусиков.

– Проси у Маши прощения! Машу проси! – Не унималась воспитательница.

И я, потрясённая гражданской казнью, ожидающей мальчика, не задумываясь, простила незадачливого поклонника:

– Пожалуйста, не наказывайте Толика!

В Усть-Нарве я до конца не сознавала того, что стряслось с мамой и всей нашей семьёй. Злобное Андрюшкино откровение привело меня в замешательство, но вместе с тем предлагало грубое, отвратительное, но реальное объяснение произошедшего.

Глава четвертая: мамы больше нет

Мама заболела в начале февраля. Стирала белье в прачечной и почувствовала себя дурно. Пар, духота, воздуха мало. На улицу выбежать не успела, потеряла сознание прямо у чана с бельём, счастье, не одна стирала, с соседками, они и вызвали «Скорую помощь». Привезли ее в обычную городскую больницу, где поставили страшный диагноз: кровоизлияние в мозг. Заболевание почти неизлечимое.

Она пролежала около месяца. Ей предписали покой, ограничили в жирах, и постепенно она начала оправляться от случившегося инсульта. Вернулась речь, способность управлять рукой и ногой, парализованными вначале, и робко проглянула надежда, может, все обойдется?

Кто-то посоветовал папе перевести жену из обычной больницы в ГИДУВ, где работают, мол, профессора и светила, уж они-то в два счета вылечат Таню! Папа нашел связи, протекцию, без которой никто никогда не стал бы переводить больную из одной клиники в другую, и в начале марта маму на «Скорой помощи» повезли в ГИДУВ. В дороге мужики-изыскатели держали на весу носилки с больной, чтобы маму случайно не трянуло в машине. Врачи опасались, что резкое торможение или удар могут спровоцировать повторное кровоизлияние.

В институте отца обнадѐжили:

– Динамика восстановления у вашей жены неплохая, пожалуй, стоит разрешить ей потихонечку садиться в постели... – И знаете, что? Принесите шоколадных конфет и сливочного масла, попробуем понемногу вводить в рацион жиры. Только в небольшом количестве!

– Хорошо, что Таню перевели в ГИДУВ! – Радовался отец дома, – теперь она пойдёт на поправку! Знаете, какие врачи там работают?

Мама тоже приободрилась, попросила сфотографировать дочерей, соскучилась, давно не видела девочек – в больницу детей приводить не разрешалось. В понедельник 19 марта папа собирался побеседовать с главным врачом отделения и надеялся заглянуть к жене, дабы передать ей конфеты и сливочное масло.

– Купи маме трюфели, – велел он накануне Миле. – Если ей разрешили шоколадные конфеты, пусть ест, которые любит. И ещё сто грамм сливочного масла. Спроси вологодское, оно лучше.

Папа ждал в коридоре уже почти час.

– Главный врач занят, – бросила дежурная медсестра и унеслась куда-то из отделения. За ней пробежал молодой доктор, с которым отец говорил, когда Таню перевезли в ГИДУВ.

– Потом, потом, – пробормотал он на ходу, как только папа попытался остановить его.

– Наверно, дежурит, и что-то случилось, – отметил отец

про себя.

Ни врачей, ни сестёр в коридоре не было. Он быстро прошёл до Таниной палаты

и заглянул в нее. Кровать жены была пуста.

– Ее повезли на рентген, – ответила одна из соседок.

Он опять вышел в коридор и столкнулся с пробежавшим давеча молодым врачом.

– Здесь нельзя находиться, вернитесь к кабинету, – неодобрительно буркнул тот.

– Я хотел заглянуть к жене, а она на рентгене, – извиняющимся тоном произнёс отец. Доктор странно взглянул на него.

– Подождите там, – мотнул он лицом в противоположную сторону, – к вам подойдут.

Оба, молча, одновременно подошли к кабинету, когда появился главврач отделения, к которому папа пришёл на беседу.

– Вы? муж Бочарниковой. – Спросил он отца, ставя вопросительный знак вслед за местоимением. Конец фразы – *муж Бочарниковой* – прозвучал утвердительно. Отец кивнул. Ему стало жарко, хотя пальто и ушанку он давно снял и держал в руках.

– Простите, мы ничем не могли помочь, – наклонил голову главный врач. Молодой дежурный, так и не успевший отойти, неловко отвернулся.

– Я не понял, что вы хотите сказать, – произнёс отец.

Потом он будет пересказывать случившееся на разные лады. Иногда в его рассказе заблестит новая, прежде не вспоминаемая деталь, потом она выдохнется, истает, возникнет другая. Лишь суть рассказа останется неизменной.

– Разумеется, я все понял, когда они побежали куда-то. И Тани в палате не было... Но главврач не сказал мне прямо, и я заставил его повторить, – говорил отец.

– Примите наши соболезнования, – главный врач посмотрел отцу в глаза. – Ваша жена скончалась. Мы ничем не могли помочь.

– Почему? Ведь ей стало лучше. Вчера и третьего дня ей разрешили сидеть. Сказали принести сливочное масло. Я говорил с лечащим врачом, она считала, что кризис позади, и жена выкарабкается. Ей было много лучше, – убеждал главврача отец.

– Вероятно, повторное кровоизлияние. Слишком рано разрешили садиться. Сегодня ее повезли на рентген головы. Во время сеанса она потеряла сознание и умерла, не приходя в него.

Папа ушёл из больницы, пешком вернулся в ТЭП. Оглушённый и чёрный пришёл в свой отдел, где все знали его жену – войну провели вместе, восстанавливали Криворожье, работали в Новосибирске, в садоводстве сажали яблони на соседних участках.

– Таня умерла, – сказал он. – Не знаю, как сообщить дома. Кто-то из женщин всплеснул руками, кто-то упал на стул,

зажав ладонью рот.

– Мама, как ты? Что надо сделать? Моисей Борисович!

– Поеду к Таниной сестре. В Гавань. Надо тещу подготовить, – сказал он друзьям-изыскателям.

В школе чувствовалось приближение весенних каникул. Лариса Ксенофоновна проверила контрольные работы по чистописанию и арифметике, послушала, кто как читает, поставила четвертные оценки по всем предметам, и 19 марта повела нас с другими первыми классами на утренний спектакль в Большой кукольный театр на улицу Некрасова. Давали «Карлик-нос» по сказке Гауфа.

Мне понравилось чрезвычайно! По дороге из школы я приставала к Миле с рассказами про злую волшебницу, пришедшую на базар купить зелень у бедной женщины; про белок, разъезжавших по паркету в обуви из ореховых скорлупок; про Якоба, превратившегося в карлика с длинным противным носом; про обжору-герцога, который требовал новых и новых кушаний; про заколдованную гусыню, которая помогла Якобу снова стать симпатичным юношей, а он ей – милой девушкой. Дома я ещё раз пересказала спектакль бабушке, а вечером, полная театральных впечатлений, быстро заснула, наверное, часов в восемь. Папы не было, он частенько приходил домой поздно, во впускные дни навещал жену, а то коротал вечера у друзей, живших недалеко от нас.

Проснулась я от страшного вопля Милы.

– Ма-а-ма-а-а!!!! Ма-а моч-ка-а-а!!!! – Надрывно кричала

сестра. – Ма-а-а-ма-а-а!!! Ма-а-моч-ка-а-а-!!!

Папа крепко обнимал ее, пытаясь прижать к груди разверстый двенадцатилетний рот, но Мила выпрастывала лицо из его объятий и продолжала кричать, задыхаясь от рыданий и слез. Я села в кровати и тоже заплакала. С мамой случилось плохое – подавала мне Мила горькую весть. Никто не смог бы верней передать мне, семилетней, всю меру того неоправимого, что случилось с нами, чем нескончаемый Милин плач.

Папы-мамина комната была полна народу – женщины с папиной работы сидели на стульях и кроватях; жена папиного друга обхватила нашу оцепеневшую Наташу; тётка с тётей Любой хлопотали над бабушкой, лежавшей без чувств; дядя Тиша с дядей Витей неслышно переговаривались возле двери в уборную...

Папа метнулся от Милиной кровати к моей, схватил меня под мышки, почти выдернув из одеяла:

– Мама умерла, Машенька. Мамы больше нет!

Маму хоронили через несколько дней на Богословском кладбище. Папа не хотел, чтобы дочери видели мать в гробу, и на кладбище нас не взяли, даже Наташу. Мы втроём оставались дома. Были ещё какие-то женщины из папиного отдела, ходили из кухни в комнату и обратно, готовили еду, накрывали на стол. Помню молчание, тишину, ожидание и негромкие хлопоты взрослых.

Все вернулись замёрзшие, с холодными руками и серыми

кладбищенскими лицами. Садись за стол, на кровать, на какие-то доски...

После похорон бабушка не ночевала на Марата, а уехала к младшей дочери в Гавань. Было поздно, когда я внезапно проснулась. Наташа и Мила спали в своих кроватях, а перед печкой, стоявшей в углу детской комнаты, на низенькой скамеечке спиной ко мне сидел папа. Он сидел в ореоле света от горящих поленьев, наклонившись вперёд и держа голову упирающимися в колени руками. Его плечи вздрагивали, из глубины тела изредка вырывались странные скомканые звуки. Повидав в последние дни множество слез и рыданий, я поняла, что мой насмешливый и самоуверенный папа плачет. На мою подушку падала часть его тени, я не посмела сесть, будто подглядывала что-то запретное, и, не вставая, в голос заплакала сама. Папа с мокрым лицом повернулся ко мне.

– Что, Машук, не спишь? Почему ты плачешь? – Пересел он на мою постель, быстро вытирая глаза.

– Потому что ты плачешь, – ответила я.

– Я больше не буду, – отозвался он, потом помолчал немного, – давай дадим друг другу слово никогда не плакать! Договорились? Я обещаю тебе, что не буду плакать, а ты пообещай мне. Ну, как, даёшь слово?

Я согласно кивнула.

– Вот и хорошо. Спи.

Я закрыла глаза. Папа остался сидеть рядом.

Тот разговор у открытой печи, если эти несколько фраз можно назвать разговором, оказался удивительно значимым в наших судьбах, как будто обещание не плакать о жене и матери, данное отцом и дочерью подле спящих дочерей-сестёр, стало своего рода связующей клятвой, которую мы оба соблюдали в течение многих лет. Со времени маминой смерти и папиных слез, подсмотренных мною, начал сбываться давнишний сон, когда покойная бабушка Муся-Хая предрекла сыну, что третий ребёнок займёт особое место в его жизни. В сорок шесть лет папа остался один с дочерьми на руках, но Наташа оканчивала школу и считалась вполне взрослой девушкой; Миле было двенадцать, с ее крепким здоровьем и лёгким характером, верилось, что она вот-вот дорастёт до юности и не пропадёт без мамы; я же, мало того, что была младшей из трех, но, как родилась слабенькой и рахитичной, так и продолжала проваливаться то в одну, то в другую болезнь всю свою семилетнюю жизнь. Пока была мама, я сидела кенгуренком в ее кармане, она выхаживала, вынянчивала меня, а теперь эта тяжкая ноша досталась отцу в наследство и задала вектор его дальнейшей жизни.

Глава пятая: интернат

Бабушка прожила с нами весну и лето, а в сентябре засобиралась в Москву. Первого сентября мы с Милой, как обычно, пошли в родную 212-ю школу. Я во второй, она в шестой класс. Папа хлопотал, чтобы определить нас с сестрой в интернат.

По странному совпадению интернаты – закрытые учебные заведения, своего рода пансионаты, были созданы именно в 1956 году, когда оглушенный бедой отец, не совсем понимал, что делать с младшими дочерьми. Раньше в СССР существовали только детские дома, где жили дети, не имевшие обоих родителей. Интернаты во многом походили на них: воспитанники тоже носили одинаковую одежду; спали в больших общих спальнях – девочки и мальчики отдельно; ели в столовой; строем ходили в баню; больных детей помещали в изолятор, где за ними присматривала медсестра и так далее. Интернат отличался от детского дома только тем, что у здешних воспитанников имелась семья и родные.

Когда я поступила в интернат номер семь, в нем учились дети сорок второго – сорок девятого годов рождения, и у большинства из них не было отцов – они погибли на войне или, вернувшись, умерли от ран и контузий. Много реже встречались воспитанники, потерявшие матерей, как мы с Милой.

В сентябре того года ленинградские интернаты были полностью укомплектованы, однако в Городском отделе народного образования служили преимущественно женщины, которые, как правило, сочувствуют овдовевшим мужчинам. Инспекторша, курировавшая интернаты, прониклась ситуацией Моисея Борисовича и при первой возможности малолетних девочек Вязьменских определили в интернат, считавшийся лучшим в городе.

Место для меня освободилось после первой четверти, по-видимому, предыдущая девочка из второго класса не выдержала недельных заточений, и ее забрали домой.

Холодным морозным днём 10 ноября папа привез меня в интернат, в котором я прожила два с половиной года. Однажды я попыталась написать об интернате повесть, которая начиналась так...

В трамвае было холодно. «Хорошо, что Маше купили это славненькое пальтишко с пушистым мехом, действительно, похоже, что соболь, неужели настоящий?» – в очередной раз удивился Моисей Борисович.

У завода Козицкого все пассажиры вышли. Моисей Борисович и девочки остались одни, только кондукторша на своем сиденье пересчитывала деньги замёрзшими руками в митенках. Трамвай описал круг и остановился.

– Кольцо, – провозгласила кондукторша, – вам выходить, вон ваш интернат, не спутаешь.

Интернат находился в самой дальней части острова Де-

кабристов – Голодая, как неизменно называл его Моисей Борисович – между заливом и Смоленским кладбищем. Внушительное серое здание одиноко возвышалось над полуплощадью-полупустырём, на котором образовывали круг трамвайные рельсы и неприкаянно торчала будка диспетчера. От той части пустыря, что походила на площадь, вдаль уходила улица, но не с домами, а с дровяными складами за глухими заборами и какими-то рабочими строениями.

– Вон он, интернат, – Моисей Борисович оглянулся на Машу. – Приехали...

– Как я тебе завидую, – пропела, обнимая сестру Милочка, – счастливая ты, Махрюта!

Моисей Борисович улыбнулся, но тут же отвёл глаза, Милочка была их с

Таней любимицей, но теперь он стеснялся этого и старался следить за собой.

Дверь интерната оказалась запертой, и Моисей Борисович постучал несколько раз. Никто не выходил.

– Тут звонок, папа! – Милочка зажала варезку зубами и нажала на неприметную кнопку долгим настойчивым движением. Звонок задребезжал где-то внутри едва узнаваемым звуком.

– Уроки сейчас, вот и не открывают. Маргарита Владимировна велела привезти Машу к десяти. Сколько сейчас? – Моисей Борисович нервничал и суетился в несвойственной ему манере.

Женщина в чём-то зелёно-жёлтом посмотрела из окна второго этажа, махнула рукой, и сквозь двойные стекла входной двери замелькал ее приближающийся силуэт. Дверь открылась. Моисей Борисович и девочки вошли внутрь, неловко столпились внизу лестницы.

Встретившая их женщина была невысокого роста с приятным миловидным лицом, похожим на свежеиспечённую сдобную булочку, и чёрными блестящими волосами, заплетёнными в толстую косу, уложенную венчиком вокруг головы.

– Здравствуйте... – голос Моисея Борисовича оставлял зазор для имени гостеприимной женщины, умело подхватившей приветствие озабоченного родителя, – Ада Арнольдовна, воспитательница второго класса.

– Очень рад знакомству. Очень рад. Тут вещи вашей воспитанницы, – Моисей Борисович старался улыбаться своей, как он шутил, обольстивой улыбкой, подвигая воспитательнице саквояж с Машиным скарбом.

– Ребёнку ничего не нужно. Ей все выдадут. Маргарита Владимировна должна была предупредить вас.

– Да-да, конечно. Я просто думал, что вначале...

– Дети на всем готовом. Кто из них поступает к нам? – Женщина кивнула в сторону девочек, но смотрела на одного Моисея Борисовича, улыбаясь ему широким сдобным лицом. Моисей Борисович неудачно подтолкнул Машу вперёд, которая чуть не упала.

– Папа! Честное слово! – Наташа руками удержала сестру

и прижала ее к себе.

Маша подняла глаза и взглянула на женщину, похожую на большую, истекающую сладким соком, жёлтую, спелую грушу, над которой деловито жужжал пчелиный рой. Маша испуганно оглянулась на родных.

– Это ты – Маша? Пойдём, переоденешься, я отведу тебя в класс. – Произнесла женщина.

– Вы, папочка, пройдите в канцелярию. Нужно расписаться, что сдали ребёнка нам, – не переставая улыбаться, женщина повернулась и начала подниматься по лестнице.

– Нюра, запри дверь за родственниками, я поведу ребёнка в класс, —

распорядилась она появившейся нянечке.

Маша не успела поцеловать ни папу, ни Наташу, ни Милочку – папа энергично замахал рукой, иди, мол, иди, и Маша послушно поплелась за жёлтой грушей в зелёной вязаной кофте.

Ада Арнольдовна открыла дверь второго класса, пропуская Машу вперёд. Учительница что-то писала на доске. Дети встали, приветствуя воспитательницу.

– Здравствуйте, Нина Николаевна, – кивнула Ада Арнольдовна учительнице.

– Садитесь, дети. Я хочу познакомить вас с новой одноклассницей. Маша Вязьменская – круглая отличница и, надеюсь, будет служить вам примером. Куда ей сесть, Нина Николаевна? – Повернулась она к учительнице.

– Садись здесь, Маша, с Борей Марьяловым, – Нина Николаевна указала Маше на третью парту в средней колонке, за которой сидел стриженный мальчик с чёлочкой.

– Правда, что ли? – Пихнул он Машу под партой, когда та села.

– Что правда? – не поняла она.

– Что ты круглая, – уточнил Марьялов. – Списывать даёшь?

– Даю, – обречённо ответила Маша.

После уроков Машу позвали к кастелянше и выдали темно-зеленое зимнее пальто с воротником из чёрного кролика, три платья, нарядное и два повседневных, школьную форму и остальную интернатскую одежду. После школьных занятий воспитанницы переодевались во фланелевые платья, сшитые из блёклого материала в мелкий рисунок, с обязательным поясом на талии. Ткань, по-видимому, подбирали специально, чтобы пятна и грязь терялись в ее невзрачных разводах и становились частью узора.

Маше досталась средняя из трех кроватей, разделенных тумбочками, в торце огромного дортуара. Недавно оштукатуренная стена делила дортуар пополам – в одной половине была спальня девочек Машиного класса, в другой, как в зеркальном отображении, стояли такие же пятнадцать кроватей третьеклассниц. Окна обеих спален выходили на пустырь с трамвайным кольцом. По вечерам кто-нибудь из воспитанниц непременно сидел на банкетке возле окна – залезать на

подоконники строжайше запрещалось – и смотрел, как уходят в город почти пустые трамваи.

До и после ужина Ада Арнольдовна приходила в спальню к девочкам и учила их вышивать. Девочки садились вокруг большой полотняной скатерти, по краю которой были выдерганы поперечные нити. Некоторые воспитанницы зацепляли иглками снопики продольных нитей и превращали их в мережковую дорожку. Другие вышивали гладью нанесённый на скатерть рисунок, изображавший гирлянду аютиных глазок, любимых цветов воспитательницы.

Улыбаясь Маше сахарными зубами, Ада Арнольдовна на отдельной салфетке с такими же аютиными глазками показала, как вышивают стебельчатым швом. Вдевать нитку в иголку Маша умела, не раз помогала маме и бабушке, но разноцветное мулине видела впервые, и яркие весёлые нитки восхитили ее. Ада Арнольдовна протянула голубой моток, и Маша принялась старательно наносить стежки по контуру рисунка.

– Славно у тебя получается, – Ада Арнольдовна приблизила Машину салфетку к глазам, – думаю, вам стоит поменяться местами с Люсей Александровой. Смотри, Люся, как Маша аккуратно делает стежки, а ты только рвёшь и портишь. Возьми Машину салфетку и уступи ей место возле скатерти. Садись, Маша, с девочками.

Крупная мосластая Люся Александрова исподлобья оглядела Машу и нехотя встала со своего места. Маша села ря-

дом с рыжеволосой, конопатой девочкой, ловко покрывающей гладью фиолетовый лепесток цветка.

– Ада Арнольдовна, давайте опять рассказывать истории. Чья очередь? – Обратилась рыженькая соседка к воспитательнице.

– Ты, Ира, сама расскажи что-нибудь, а то только любишь слушать других.

– Пусть новенькая расскажет, – Ира выразительно взглянула на пересаженную подружку.

– Маша, ты знаешь какую-нибудь историю? – Вопросительно улыбнулась Ада Арнольдовна.

– Какую историю? – Не поняла Маша.

– Сказку или историю можешь рассказать? – Уточнила воспитательница.

– Ладно, я расскажу про больную кикимору, – легко согласилась Маша.

Как она решилась рассказать незнакомым девочкам про маленькое уютное болотце, где за большой корягой на тёплой кочке жила пожилая кикимора, у которой разболелся зуб, Маша ни за что не смогла бы объяснить. Ее понесло, как называла Машины импровизации старшая сестра. Маша то шепелявила, как ополоумевшая от боли кикимора, то хрипло хихикала, как злорадствующая над ней баба Яга, то бурчала, как пришедший на помощь леший.

Некоторые из девочек застыли с иголками в руках, глядя на разошедшуюся рассказчицу.

– Леший протянул кикиморе больной зуб и сказал: «Посади в болотную кочку, вырастет тебе куст с зубами про запас», – закончила Маша.

– Где ты слышала эту сказку? – Осторожно поинтересовалась воспитательница.

– Нигде, я ее только что придумала, – беспечно ответила девочка.

– Вот это да! – Протянула конопатая Ира. – А ещё про что можешь?

– Не знаю, про что хотите. Скажи, про что, я попробую сочинить.

– Хватит, хватит про кикимор и остальное. Скоро отбой, пора готовиться ко сну, – остановила Ада Арнольдовна.

Скатерть сложили, нитки убрали в большую коробку, воспитательница вышла из спальни.

– Не забудьте почистить зубы, – сказала она напоследок.

Маша разделась и залезла под одеяло одной из первых. Ей было холодно, немного знобило. Ада Арнольдовна вернулась, когда девочки лежали в постелях.

– Ты умеешь заплетать косы? – Подошла она к новенькой.

– Нет, дома мне заплетала Мила или Наташа иногда, – Маша смотрела на воспитательницу огромными глазами.

– Сёстры?

Маша кивнула.

– Завтра я сама причешу тебя, а потом мы назначим тебе шефом старшую девочку. Спокойной ночи! – Воспитатель-

ница выключила свет и вышла из дортуара.

– Новенькая – жидовка и лупоглазая кикимора! – Раздался ехидный голос в углу, где стояли кровати Люси Александровой и конопатой Иры. Девочки засмеялись.

– Ладно, кикимора, расскажи нам ещё что-нибудь. Правда, что у тебя мать умерла? – Спросила, кажется, Александра.

Маша засунула в рот угол подушки и ничего не ответила.

– Оставь ее, Люська. Пусть спит. Сегодня Ада Арнольдовна дежурит, – произнёс голос рыжей Иры.

Первую неделю пришлось провести в интернатском лазарете. То ли стресс новой жизни повлиял на некрепкую иммунную систему, то ли затаившийся вирус за несколько дней до того начал обустроиваться в моем организме. На второй день учёбы поднялась температура, разболелось горло, и учительница отрядила какую-то девочку довести меня до медсанчасти, где, как в обычной поликлинике, были врач, медсестра и нянечка.

– Девочка останется здесь. – Резюмировала доктор, прослушав мои легкие и осмотрев горло. – Сильный тонзиллит при удалённых гландах. Пусть полежит несколько дней. Скажите воспитателям, что ее можно навещать.

Я лежала одна в большой просторной палате, рассчитанной человек на десять, и бессильно плакала в тишине. Ни мамы, ни бабушки, ни Наташи с Милой.

После ужина Ада Арнольдовна привела девочку, чья кровать в дортуаре стояла подле моей.

– Не знаю, успели вы познакомиться или нет. Это Лариса Шишкина. Я думаю, вы подружитесь. Лариса, на всякий случай посиди у двери на стуле. Не подходи к Маше близко. И недолго, пожалуйста. Скоро отбой.

Лариса болтала ногами, рассматривая палату.

– Никогда не лежала в изоляторе, – вздохнула она. – Я вообще не болею.

Непослушные пряди волос, выбившиеся из небогатых косиц, обрамляли ее простое круглое лицо. По бокам головы свисали два помятых разнокалиберных банта, каждый из которых, вплетённый в одну косичку, был подвязан к основанию другой. На затылке косички переплетались, напоминая ручку плетёной корзины, отчего вся причёска пышно именовалась корзиночкой.

– У меня тоже умерла мама, – вдруг сказала Лариса, не взглянув на меня.

Пароль прозвучал, отозвавшись короткой болью и бескрайним доверием. На секунду остановилось сердце. То, что у меня не было мамы, я ощущала, как затянувшуюся болезнь или полученное увечье. Я ненавидела, когда взрослые вздыхали и с жалостью глядели в мою сторону, сиротка... Или, когда сердобольная женщина норовила погладить по голове... Или, когда ребята интересовались, а правда, что у тебя умерла мать? До сих пор я не встречала ребенка своего воз-

раста, у которого не было мамы. Мама была у всех, кроме меня. И вот передо мной сидит девочка, у которой тоже нет мамы. Девочка учится со мной в одном классе. Спит на соседней кровати. Сидит на стуле, болтая ногами. У нее смешные косички, она никогда не болеет, и она такая же, как я. С той же чёрной меткой судьбы...

Когда я вырасту, папа расскажет мне, что молодую Ларисину мать на глазах детей – семилетней дочери и двухлетнего сына – зарубил топором отец. Был он пьян или контужен во время войны, или приревновал жену к соседу по квартире – подробностей не осталось. За убийство его посадили в тюрьму, а опеку над детьми оформила незамужняя сестра погибшей женщины. Ларисину тетю я видела много раз: миловидная, тоненькая, улыбчивая, со светлыми волосами. Года двадцать три—двадцать пять, не больше...

Мы с Ларисой различались во всем. Я болтала, любила рассказывать, непрестанно выдумывала истории. Она молчала, неопределённо улыбалась, внимательно вслушивалась в мою болтовню. Я отлично училась, читала книжки и ненавидела ежедневные *прогулки на свежем воздухе*. Она, наоборот, училась на тройки, книг не читала и обожала гулять во дворе. Тем не менее, ничто не могло разлучить нас.

В начале четвёртого класса мальчики и девочки вдруг заболели любовной лихорадкой. В силу характера я с воодушевлением отдалась этому действию и неделю упивалась наскоро состряпанной любовью к Борьке Марьялову, подарив

ему акrostих из биографии Веры Инбер, о чем он, естественно, не догадывался:

Ты хочешь знать, кого люблю я?

Его не трудно угадать.

Будь повнимательней, читая.

Я больше не могу сказать!

Потрясённый Борька, которому я – не сразу, не сразу! – подсказала зашифрованную отгадку, подарил мне кулёк конфет. Что делать дальше, мы оба не знали, и вспыхнувший было роман быстренько выдохся и погас, как часто случается и с более зрелыми людьми!

Разумеется, я посвящала Ларису во все перипетии интриги, рассказывая о самых незначительных деталях, однако вскорости выяснилось, что она восприняла незадачливый роман с Борькой как измену нашей дружбе. То ли она поделилась с кем-то горькими мыслями, то ли кто-то из девочек случайно заметил, что она плачет, но непримиримая Люся Александрова обвинила меня в предательстве лучшей подруги. Реакция Ларисы была неожиданной и трогательной, и я многословно каялась перед ней, клянясь в непорочной верности.

Через два с половиной года судьба моя изменилась: папа женился, у меня появилась новая мама, и я возвратилась домой. Дружба с Ларисой оборвалась. Раза два я приезжала к

ней в интернат, один раз весной, через месяц после ухода оттуда, второй – осенью.

В первый визит Лариса сидела рядом со мной во дворе, и, пока я распиналась о новой школе, на песке под ее туфлей возникала гладкая прошарканная полоска. Потом Лариса встала, растоптала полоску и, не оборачиваясь, ушла в интернат. Я вернулась домой, обескураженная встречей, но родители объяснили, что Лариса тяжело переживает мой уход и свое одиночество, и что я должна постараться сохранить отношения с нею. Очень важно не оставлять человека в беде одного... Я написала письмо в интернат: ученице четвёртого класса Ларисе Шишкиной, но она не ответила. Осенью съездила туда ещё раз. В газете «Ленинские искры» напечатали моё стихотворение, и очень захотелось похвастаться.

Наши ребята радостно играли во дворе. Там происходило что-то свое, в чем мне не было места.

– Позовите Ларису, – попросила я.

Кто-то кому-то прокричал по цепочке.

– Вязьменская приехала. Позовите Шишкину.

Лариса вышла во двор, молча, выслушала мой стих и захлебнувшийся рассказ

о летнем отдыхе. Я сунула ей кулёк с конфетами.

– Это тебе. Вам. Всем.

Она встала и рассеянно улыбнулась чему-то.

– Пора, – смотрела она в сторону. – Мы сегодня дежури́м на кухне.

Около часа я возвращалась домой на трамвае и больше никогда не ездила в интернат. И не писала Ларисе писем. Наши судьбы перестали совпадать, а, как известно, по этой причине чаще всего прерываются человеческие отношения.

В интернат я поступила на два месяца позже других ребят. Кажется, что такое, два месяца? Совсем ничего! Но они уже познакомились, ели, спали, гуляли вместе. Среди девочек появилась парочка подружек-лидеров, вокруг которых завихрились льстивые протуберанцы подобострастия. В детской среде, как правило, новичка встречают враждебно, а здесь, к тому же, явилась новенькая, которую взрослые отрекомендовали отличницей, берите с нее пример. Кому понравится?

Не удивительно, что на меня посыпались прозвища, одно обидней другого:

Жаба, Сова, Жидовка... Они пребольно мучили мои самолюбие и гордость. Понимая, что Жаба и Сова достались мне из-за худого остроносого лица с большими выпуклыми глазами, я находилась в полном неведении относительно клички Жидовка. Разумеется, я догадывалась, что оно означает какую-то гадость, но какую именно, абсолютно не представляла.

Когда в наспех проглоченной книжке я встречала незнакомое слово, за объяснениями всегда обращалась к папе, который знал все. В детстве он был для меня единственной энциклопедией, тем более, мой вопрос вряд ли требовал сло-

варя Брокгауза и Эфрона.

– Мапапа, – спросила я его по дороге домой, – что такое жидовка?

Весь год после смерти мамы я по привычке начинала обращаться к ней, но на первом слогe спохватывалась и на том же выдохе договаривала – папа. Выходило – мапапа. Так я звала отца.

Папа помолчал, обдумывая вопрос, потом поинтересовался, где я слышала это слово. Он всегда спрашивал, чтобы точнее определиться в ответе, и я рассказала ему о сове, жабе и неведомой жидовке.

Мы ехали в холодном ленинградском автобусе, окна были белыми от изморози, и улицы тёмного зимнего города сменялись за окном. Я прижималась к отцовскому боку, пропустив руку под его локоть, и задавала тревожащие меня вопросы.

– Сова, – раздумчиво начал отец, – это не просто птица. Свою любимую богиню Афину Палладу греки изображали с совой, сидящей у нее на плече. Сова у греков была символом мудрости, а Афина Паллада считалась богиней войны, знаний, изобретательности. Ты можешь прочесть мифы древней Греции, у нас есть. Я бы на твоём месте гордился, что меня называют Совой. – Я промолчала.

– В средние века, – пошёл папа на второй заход, – люди считали, что совы, ночные птицы, связаны с колдовством и чародейством. Они приписывали им особые свойства и наде-

ляли таинственностью. Согласись, это что-то особенное. Не просто птица, а помощница волшебников. Колдовская птица! Сов-а-а-а! Тебе бы не переживать, а радоваться.

– А жаба? – Понуро поинтересовалась я.

– Что? Жаба? – Похоже, папа увлёкся, – жабы и лягушки очень нужны в природе. Они земноводные животные, потому что обитают и на земле, и в воде. Помнишь, ты летом видела головастиков в Усть-Нарве? Это детёныши лягушек и жаб, потом они превращаются в лягушат и маленьких жаб и живут на суше и в воде. И те, и другие очень полезные животные. Защищают огород от слизняков, которые портят капусту и овощи. Ловят комаров и мошек своими длинными языками. Ты знаешь, что жаба выстреливает языком на несколько сантиметров ото рта? Да, да! Мошки прилипают к его влажной поверхности, и жаба втягивает их с языком обратно в рот. Потом проглатывает. Ты же не любишь, когда комары кусают тебя? Вот, жабы и защищают тебя от них.

Не обижайся на ребят за жабу и сову. Вы пока не учили ни зоологию, ни историю. Подожди, будете в школе проходить про этих животных, и ребята перестанут тебя дразнить. А чтобы сейчас не приставали, отвечай им пословицей

– *обзывай хоть горшком, только в печку не ставь.*

– В какую печку? – Изумилась я.

– В любую. Это так говорится, чтоб не обзывались, – уточнил папа. – Пословица такая. *Назови хоть горшком, только в печку не ставь.*

Мой восьмилетний ум не мог охватить папиного плана победы над обидчиками.

– Чтоб ребята обзывали меня не полезной Жабой и не мудрой Совой, а... Горшком? – уточнила я.

– Ты не должна реагировать на насмешки, тогда им станет неинтересно тебя дразнить. Вот увидишь, они отстанут со временем, – развивал стратегию папа.

– Да-а-а-а, ты не знаешь Ирку, она не отстанет. Всех девочек подговорит. И мальчишек тоже, – я представила себе вертлявую Ирку Сажину. Папины доводы съёживались перед ее насмешливой мордочкой. Она не станет слушать ни про любимую богиню греков, ни про комаров с длинными липкими языками. Жаба, Сова. Сова и Жаба. Я вздохнула.

– А что такое жидовка?

Папа, решивший было, что вопросы с обидными прозвищами мы обсудили и проехали, несколько напрягся.

– Видишь ли, Машук.... Есть такая национальность – еврей. А некоторые, не очень хорошие люди обзывают евреев жидами, – папа старательно говорил тем же тоном, каким рассказывал об Афине Палладе.

Стоп! Теперь я совсем ничего не понимала. Запуталась в горшках, печках, не очень хороших людях, национальностях, – что это такое? —которых обзывают евреями, потом каких-то жидах. Получалось, что Жидовка – это ещё хуже, чем Сова и Жаба.

Ранняя ленинградская ночь, бежавшая наперегонки с ав-

тобусом, изредка освещалась уличными фонарями, и тогда лёгкая белая зима расцветала на окне.

Папа выпростал руку из обвивавшей моей и, обхватив меня за плечи, стал

горячо объяснять, что мы живём в Советском Союзе, что мы все – советские

люди, и не важно, кто из нас какой национальности.

– Что такое, национальность, папа? – Спросила я.

– Ты читала сказки Братьев Grimm? Это немецкие сказки. Дядя Тиша с тётёй Наташей жили в Германии, немецкой стране. Там все люди говорят по-немецки. Немцы – это и есть национальность. Французы живут во Франции и говорят по-французски. Французы – тоже национальность. Понимаешь? Шарль Перро – француз, ты его сказки знаешь. «Мальчик-с-пальчик», «Золушка»... Кто там ещё? – запнулся папа.

– «Синяя Борода», «Кот-в-сапогах», – подсказала я.

– Да, именно, в сапогах, – подхватил папа. – А в нашей стране живут люди многих национальностей. Русские, украинцы, латыши, евреи. Вот я – еврей, понимаешь?

Папа обнимал, объяснял, уводил ребёнка от неудобной темы, расспрашивал о прочитанных за неделю книгах, но новое чувство сопричастности и жертвенности поднималась во мне, подминая все остальное. Я тоже еврейка. Я иная, чем мои одноклассники. От того, что у меня не было мамы, я и так ощущала себя не такой, как все. Я была среди них отлич-

ницей – отличалась от них, а теперь отличаюсь и по национальности! Пусть обзываются, как хотят! Я – Сова на плече Афины. Я – болотная Жаба в холодной ночи. Я – Жидовка! Я вместе с папой! Мы с ним евреи!

В понедельник в интернате я подошла к Аде Арнольдovне и попросила записать в классный журнал, что я – еврейка. Там был алфавитный список учеников, где указывались их дни рождения, национальность, домашний адрес, имена и отчества родителей, их места работы... Ада Арнольдovна погладила меня по голове и сказала, что она и так записала меня *еврейкой*. С самого начала. Я изумилась, откуда она знала?

Папа оказался прав, меня быстро перестали дразнить. Я старательно не реагировала на унижительные клички и изо всех сил улыбалась в ответ: тебе не нужно, чтобы я подсказывала или давала списывать?

Девчоночьё половина класса, кроме того, очень скоро обнаружила моё умение сочинить рассказ на любую тему, и среди соседок по дортуару я приобрела особенный статус. Как в тюрьме заключённые ценят занимательного рассказчика, скрадывающего время их заключения, так воспитанницы закрытого интерната, не умея наслаждаться самостоятельным чтением, упивались моими доморощенными страшилками. Больше всего пользовались популярностью вариации на тему кровавого пятна и отрубленной руки. Вероятно, первоначальную канву я где-то услышала, скажем, летом в дет-

ском саду или от Милы и ее подружек, а дальше моё неугомонное воображение извергалось самостоятельно. Я наворачивала одну ужасающую деталь на другую, измазывала сюжет литрами человеческой крови и заселяла его ожившими мертвецами. Страшные семейные тайны – какие тайны мог придумать ребёнок восьми-девяти лет, теперь трудно воспроизвести – громоздились одна на другую. Отрубленные руки по ночам залезали в постели, кровавые пятна не смывались фонтанами воды, появляясь все вновь и вновь. Мои соученицы, трясясь от страха, наслаждались заказанным ужасом!

Почти каждый вечер после отбоя, когда дежурный воспитатель уже прошёл по дортуарам, погасив свет и пожелав детям спокойной ночи, Люся Александрова, подруга и компаньонка Иры Сажиной по классному лидерству – сама Ирка предпочитала со мной не связываться, давала отмашку:

– Машка! Не спи! Расскажи что-нибудь!

– Я не сплю. Что рассказывать-то сегодня?

Несколько голосов наперебой предлагали тему, я выбирала и ... включала воображение.

Со временем у одноклассниц выработались любимые истории, и от меня требовалось ни в коем случае не отклоняться от канонического текста, наоборот, следовать ему скрупулёзно. Вот когда стало невыносимо скучно! Повторять собственные страшилки, не изменяя сюжет, было невозможно, поэтому я шла на небольшие уловки. Убеждала восьми—деся-

тилетних слушательниц, что, честное пионерское, не помню, как было в прошлый раз. Может быть, тёмное пятно на полу оказалось входом в волшебное подземелье, а не следом от кровавого побоища в отдельно взятой комнате коммунальной квартиры? Иногда мне удавалось преодолеть консерватизм слушательниц, и я уводила их в другие подземелья и на иные кладбища. Правда, увы, недалеко от предыдущих.

Не единожды я сама засыпала среди собственных рассказов, разочарованная запретом на творчество, и как-то раз неблагодарные слушательницы жестоко наказали меня, вылив на спящую ведро холодной воды.

Я проснулась от собственного крика. Сидя в мокрой постели, я кричала и не могла остановиться. В соседней палате проснулись третьеклассницы, по коридору бежала дежурная воспитательница. А мои соседки притворялись спящими. Воспитательница влетела в спальню, включила свет, бросилась ко мне, что случилось? А я рыдала...

Она заставила меня встать, стащила с тощего тельца мокрую рубашку, накинула полотенце, усадила на банкетку возле кровати... Через какое-то время принесла другой матрас, белье, ночную рубашку – одноклассницы старательно пыхтели под одеялами, предпочитая не вылезать из тёплых убежищ, чтобы не стать свидетелями собственной жестокости. Воспитательница ушла, а я долго боялась заснуть, все лежала, умоляя кого-то, чтоб мама вернулась домой, и меня забрали из интерната.

Два с половиной года выпало мне круглосуточно жить в окружении других детей. В классе, столовой, на прогулке непрерывно сталкиваться с двадцатью девятью сверстниками; в спальне, умывальне, туалете ощущать непереносимое присутствие остальных четырнадцати девочек. Личного пространства не существовало совсем. Никто из нас ни на минуту не оставался один, это полностью исключалось интернатскими правилами – мы были приговорены к коллективу. Не знаю, как другие ребята, но я, ещё не ведая того, ощущала себя «как на месте публичной казни...»

Даже унитазы в уборной не разделялись перегородками, всем приходилось испражняться под взглядами остальных, а то и под комментарии бойких одноклассниц.

В тумбочки, предназначенные для хранения личных вещей, в основном, зубной щётки и порошка, теоретически, можно было положить что-то свое, скажем, фотографию умершей матери или несколько оставшихся после приезда отца леденцов, или незамысловатый дневник интернатских событий. По неопытности я так вначале и сделала, вскоре, правда, с лихвой пожалев об этом. Не запирающиеся на ключ тумбочки подвергались почти демонстративному нашествию малолетних варваров, абсолютно не подозревавших о частной собственности и правах личности. Украденных конфет было жаль, но больше, чем их пропажа, возмущала несправедливость, ведь мой отец каждую неделю привозил полкило леденцов, которые я честно распределяла

между всеми девочками класса. Свою часть я не съедала тут же, а сохраняла в тумбочке *на потом*, чтобы полнее наслаждаться чтением книжки под барбариску или дюшес.

Ещё горше, чем кража конфет, оскорбило бесцеремонное разглядывание моих

ежедневных записей и фотокарточки мамы. Фотографию пришлось вернуть в семейный альбом, а дневник я приспособилась прятать в парте между школьными тетрадками и учебниками, которые не интересовали одноклассников.

Жизнь в интернате, как во всех учреждениях, где обитатели должны постоянно находиться на виду у наблюдающего персонала, протекала при ярком электрическом освещении, от которого я очень уставала.

Дома оранжевый абажур и настольные лампы на двух письменных столах уютно-приглушенно освещали наши небольшие комнаты. Временами, когда с улицы проникал дневной свет, я играла на подоконнике, даже не включая электричества...

В интернате укрыться от бесконечного, пронзительного, искусственного освещения было невозможно.

Входя в спальню, дежурная воспитательница нажимала на выключатель:

– Девочки, вставайте! Подъем!

За окнами чернела ночь, зимой в семь часов в Ленинграде ещё темно, но у нас начинался электрический день. Сильный яркий свет сметал приснившуюся тебе радость, как тонкую

паутинку из тёмного угла. Надо бы, зажмурив глаза, постараться запомнить упорхнувшее сновидение, но нет ни минуты, чтобы понежиться в постели. Скорей, скорей бежать в уборную, пока в ней не выстроилась очередь из тридцати человек. Белые стены умывальной комнаты слепят глаза, так обильно их поливает свет ламп, привинченных к потолку. К слову сказать, в кранах нет ни горячей, ни холодной воды, одна ледяная. Пока чистишь зубы, их ломит от холода. Воду трогаешь пальцем, бр-р-р! Будто из проруби! Чтобы умыться, брызгаешь на лицо несколько капель и растираешь их по глазам и носу, однако одеваться тепло – батареи не просто горячие, раскалённые, не притронешься!

Громадная столовая так же щедро освещена многочисленными лампами. Мы

сидим по четыре человека за каждым столом. Ковыряем густую манную кашу на пригоревшем молоке. Проглотить ее почти невозможно, но каждому полагается по кусочку сливочного масла и варёному вкрутую яйцу, а то и ломтику сыра. В кружках, алюминиевых или эмалированных, чтобы не бились, тёплый сладковатый чай, которым можно запить бутерброд.

Классная комната тоже желта от электричества. К счастью, она меньше, чем дортуар и столовая, и потому не довлеет, как те. К третьему уроку за окнами начинает светать, однако лампы по-прежнему не выключаются.

После школьных занятий нас выводят на час—полтора

погулять во двор. Теперь можно отдохнуть от бесконечного электрического освещения, только, вот, беда – я ненавижу прогулки на свежем воздухе.

В моем детстве зимы в Ленинграде были холодные, снежные. Бегать и прыгать я не любила, в снежки играть, тем более. Паниковала при виде комка, летящего в мою сторону: мозг навсегда запомнил удар мяча, сломавшего нос трехлетней девочке. Стояла в сторонке и мёрзла, пока ребята резвились среди сугробов. Или ходила между кустов боярышника, посаженных осенью в интернатском дворе, и варежкой стряхивала с них пышные шапки снега.

Иногда, уже на третий год жизни в интернате, если Ада Арнольдовна уходила домой после ночного дежурства, я умудрялась оставаться в помещении, не гулять с остальными ребятами. Пряталась в туалете для воспитательниц на первом этаже. Запирала дверь на защёлку и, сидя на стульчаке, с упоением читала очередную книгу.

После прогулки обед в той же ярко освещённой столовой. Суп с лапшой или щи, которые я любила; затем пюре с котлетой или гуляш с макаронами; потом на десерт – кисель или компот из сухофруктов.

В три часа пополудни, когда снова начинало темнеть, мы возвращались в класс готовить домашние задания под присмотром воспитательниц. Это время я обожала! Первой заканчивала заданные уроки, доставала из парты книжку и уносила прочь от реальной жизни. Одноклассники решали

арифметические примеры, вставляли пропущенные слова в грамматические упражнения, а я была далеко от всех, улетев в другие миры и пространства.

Еженедельно мы всем классом ходили в интернатскую библиотеку, где каждый брал одну-две книжки. Я прочитывала их так быстро, что получила разрешение индивидуально менять книги в любой день.

Другие дети читали мало, и, чтобы приобщить воспитанников к внеклассному чтению, наши воспитательницы организовали соревнование. В классную комнату повесили стенд с тридцатью именованными кармашками – по количеству учеников. За каждую прочитанную книжку, даже самую тоненькую, (надо было пересказать ее содержание перед всем классом) воспитательница ставила в кармашек ученика жёлтую закладку. Пять жёлтых закладок соответствовали синей, пять синих – красной. Читатель, заслуживший красную закладку, то есть одолевший двадцать пять книжек, получал в подарок книгу. В начале соревнования я первая заработала две книжки, правда, после этого Ада Арнольдовна исключила меня из состязания, объяснив, что остальным ребятам неинтересно соперничать с заведомо сильным противником, которому достаются все призы. С ее правотой спорить не приходилось: я уже читала большие толстые книги, которые брала в библиотеке или покупал для меня отец.

Отступление: папины истории

Пока я была в интернате, папа каждую неделю по средам приезжал навестить меня, и мы сидели на диване в подобии гостиной на нашем этаже в окружении моих одноклассниц: посреди недели ни к кому из них родители не приезжали, и девочки льнули к моему отцу, скучая по ласке.

Я прижималась к правому боку папы, левой рукой он обнимал Ларису – он всегда выделял ее.

Места на всех не хватало, кто-то залезал на спинку дивана, кто-то приносил из спальни банкетку. Девочки жаждали слушать папины истории о приключениях в тайге.

– Однажды к изыскательской палатке подошёл медведь, – рассказывал папа. – Я что-то писал в планшете и, увидев косматую морду, от неожиданности громко и властно закричал на нее: «Убирайся сию же минуту! Вот ещё выдумал! Ты мне мешаешь!»

Бурый хозяин тайги обалдел. Он остановился в двух метрах от меня, шумно вздохнул – а я продолжал ругать его на все корки – как вдруг развернулся и... бросился наутёк! Наверно, ему показалось справедливым, что я ору на него. Ведь по его, по-звериному, то есть, я защищал свою территорию. «Как человек, однако, сердится, – верно, решил медведь, – надо тикать, пока цел.»

Маленькие слушательницы засмеялись. Я с гордостью поглядывала вокруг: слушайте, слушайте! Это мой папа рассказывает!

– Зверь убежал, а я долго не мог вернуться к работе. – Продолжал папа, переждав смех. – Боялся, что он раздумает и вернётся. На всякий случай положил рядом с собой ружье. Но медведь не вернулся, похоже, и он испугался меня не на шутку!

Папа прижал нас с Ларисой к себе. Остальные девочки заёрзали, зашевелились.

– А медведь был большой? – Обратилась к отцу Ира Сажина.

– Кто его знает, – усмехнулся тот, – мне показалось, огромный, но у страха глаза велики! Может, это был молодой медведь, не вошедший в полную силу. Хотя с человеком он в рукопашную справился бы. Хорошо, что он испугался и убежал. Повезло мне.

И то, что отец не бахвалился, а все равно выходил героем из опасной встречи в тайге, очень мне импонировало.

– Расскажи ещё, – попросила я. Девочки меня поддержали.

– Расскажите, с кем вы ещё встречались!

– Ну, если хотите, слушайте, – не стал отнекиваться отец.

– Как-то ранней весной поднимался я по склону, – начал он, – надо было поставить вешку – ориентир на вершине холма. Карабкался я по крутому косогору и почти наверху

ухватился за куст, не маленький, но и не слишком большой. С его помощью было ловчее выбраться наверх. Куст этот я заметил ещё внизу. Рос он на самом краю откоса. Уцепился я за его раскидистые ветки, подтянулся и почти ступил на вершину холма, как куст со всеми его корнями остался в моих руках. Видимо, он держался в земле еле-еле, потому что под ним была уже не земля вовсе, а громадная ямина. Пустое пространство, нора. А в этой норе зимовали змеи. Много-много змей. Вот стою я перед этой змеиной ямой, за спиной косогор, по которому я только что влез, а впереди у меня, не спеша, разворачивается огромный клубок, даже не клубок, а клубище чёрных гадюк, и шевелится.

Я замерла от ужаса. Девочки тоже. Папа молчал, вспоминая.

– Вас укусила змея? – Не выдержала Люся Александрова.

– Нет, – продолжил отец, – я инстинктивно отпустил вырванный куст, отпрянул назад... и кубарем покатился по косогору. В самом низу пяткой напоролся на какой-то сухой пенёк, может быть, острый колышек, не знаю, он прорвал сапог и вонзился мне глубоко в ногу. Кровотечение я сумел остановить, забинтовал потуже и все, но, видимо, в рану попала грязь, и через несколько дней началось воспаление на ступне. Хромал я ужасно, болело адски, ну, а работу никто не отменял. Изыскателю положено в летний сезон успеть проложить маршрут, так что, болит-не болит, будь любезен, пройди свои километры, произведи съёмку местности и за-

неси в планшет. По найденному тобой маршруту потом проведут линии электропередач. Это высокие столбы с проводами, по которым электрический ток поступает в города. Кто-нибудь из вас видел такие, когда ездил на дачу?

– Я. И я! – Согласились несколько девочек, но Люся не позволила им увести папу от недосказанной истории и перебила одноклассниц. – А что стало с вашей ногой?

– Да, нога, – спохватился папа. – В Ленинграде уже мне прочищали нарыв. Вскрывали его без всякого наркоза. Пришлось терпеть. После перенесённой операции я не мог наступить на ногу чуть ли ни месяц. Сидел дома на больничном. И все зажило. Но главное, что с запланированными километрами наш отряд все-таки справился, и описание найденного маршрута я отправил начальству вовремя.

Девочки загалдели. Каждой хотелось дотронуться до моего отца, что-то сказать ему. Одна рассказала о встреченной летом гадюке, другая про то, как они с бабушкой видели на просеке большущие металлические конструкции с проводами, это для электричества, да?

– Наверное, – отвечал отец, – вокруг Ленинграда строится множество электростанций. У нас большой город, а в нем заводы, фабрики, морской порт, разные предприятия – для них нужно немало электричества. Похоже, вы с бабушкой действительно видели опоры линии электропередач. Где это было, в Тайцах?

Девочка благоговейно кивнула, потрясённая папиным

узнаванием именно той станции, где она летом жила у бабушки и видела в лесу столбы с проводами. Остальные одноклассницы заворожённо внимали папиным взрослым и важным словам: электричество, электростанция, линии электропередач, опоры, маршрут.

А я раздувалась от гордости и ещё больше обожала отца в эти мгновения!

Папа вставал с дивана, девочки ещё облепляли его, не давая пройти, но Ада Арнольдовна уже звала воспитанниц в дортуар. Я вцеплялась в отцовскую куртку, папа обнимал меня *крепко-крепко*, чуть наклоняясь вниз и обдавая терпким мужским запахом.

Как я мечтала уехать отсюда с ним на трамвае! Как тосковала по жизни в родной семье...

Глава шестая: хорошая девочка Маша

В пятьдесят пятом году в Советском Союзе был снят фильм по книге Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика». Действие книги и фильма происходит в тридцатые годы в СССР. Сюжет прост: пионер Серёжа берет без разрешения с отцовского стола важную бумагу и случайно теряет ее. За пропажу секретного документа его отца, инженера Баташева, арестовывают и сажают в тюрьму. Оставшись один, Сережа совершает несколько необдуманных поступков, оказывается без денег и попадает в ловко расставленные вражеские сети – в тридцатые годы страна жила в атмосфере махровой шпиономании. Обаятельный шпион представляется мальчику родным дядей, обещает устроить в школу юнг и увозит из Москвы в Одессу, где использует доверчивого пионера в своих коварных целях. В частности, дядя-шпион велит Сереже подружиться с мальчиком, отец которого, крупный инженер, как и арестованный Баташов–старший, трудится на благо военно-промышленного комплекса СССР. Выследив инженера, сообщники псевдодяди убивают его, а Сережа, наконец, прозревает, проявляет пионерскую бдительность и разоблачает врагов. В тщетной попытке скрыться, самозванный дядя стреляет и ранит Сережу в голову. Когда в госпитале к маль-

чику возвращается сознание, у его постели сидит освобождённый отец. Он доходчиво объясняет сыну, а заодно и зрителям, суть шпионской коллизии, в которой по недомыслию оказался честный советский пионер.

В конце фильма не остаётся сомнений, что раненый Сережа скоро поправится, и они с отцом теперь не расстанутся.

Не помню, когда я увидела «Судьбу барабанщика», по-видимому, во втором классе. Логическая последовательность событий, случившихся с пионером Сережей, заморозила меня. Все было правильно и закономерно, как в сказках, которые я любила: мальчик оступился, совершил неверный поступок – остался без отца и испытал всевозможные неприятности и беды. Когда же он *исправился*, проявил честность, отвагу и смелость – к нему вернулся живой и невредимый отец.

Фильм превратился в путеводную звезду, навязчивую идею. Он осветил мою жизнь безумной надеждой – я поняла, что должна стать архихорошей девочкой, и тогда... Что произойдёт тогда, я в точности не загадывала. Конкретная награда оставалась расплывчатой, мне не удавалось ее сфокусировать, увидеть воочию, назвать по имени... Я тосковала по маме, семье, мечтала, чтобы все было по-прежнему. Может быть, я ожидала, что мама окажется живой и вернётся обратно?

Отступление: на ростовском перроне

Где-то в те годы папа стал ездить в командировки в Ростов-на-Дону. Я никогда не заговаривала об этом, но про себя почему-то решила, что он ездит туда повидаться с мамой. Она перебралась, мол, в Ростов-на-Дону и по неведомой причине – аналог тюрьмы Баташова-старшего – не вправе вернуться в Ленинград и навестить дочерей. С взрослыми ей встречаться разрешено, поэтому папа мотается туда якобы в командировки. Безумная эта надежда долго хранилась в моей душе...

Летом шестьдесят второго года я, в числе других пятнадцати подростков, впервые в жизни ехала на поезде отдыхать в пионерский лагерь недалеко от Сочи. Подготовленная рассказами папы, я знала, что поезд Ленинград-Сочи останавливается в Ростове-на-Дону, где к концу состава присоединяют другой локомотив, и дальше на юг вагоны едут в обратном порядке. Процедура замены локомотива или, может быть, паровоза длилась не менее получаса, поэтому подросткам, едущим в лагерь, разрешили выйти на перрон, погулять по вокзалу, купить мороженое, ситро или другие местные сладости.

Вагон опустел. Ребятам надоело почти двое суток нахо-

диться без движения, и вырвавшиеся на волю, они с наслаждением разминались на платформе. Я сидела одна, не шевелясь, отрешённо глядя в окно. Там, на ростовском перроне меня ожидала мама, а я не была уверена, что мы с ней узнаем друг друга. Я не помнила маминого лица – фотографии давным-давно подменили ее живой облик. Больше других я любила карточку, на которой мы сняты вдвоём у озера. Мама стоит возле меня на одном колене, а я держу в руках охапку ромашек и сияю своей семилетней мордашкой!

Вряд ли мама узнает меня через шесть с половиной лет.

Часы на здании вокзала торопили поезд к отъезду. По одному, по два ребята возвращались в вагон. Меня охватила паника. Я МОГУ НЕ УВИДЕТЬ МАМУ! Она ждёт, она там, на ростовском перроне, а я даже не пытаюсь встретиться с нею!

Я на кого-то налетела в коридоре. Выскочила на платформу.

– Эй, ты куда? – Закричала вслед проводница. – Мы же шас тронемся!

Я летела вдоль состава, заглядывая в глаза встреченных женщин.

– Извините! Простите! – Толкала я по дороге людей. Никого, отдалённо похожего на мамины фотографии, не попалось. Никто не искал меня. Ни одна душа. Никакого возраста. Мамы просто не было.

Я понеслась обратно. В другую сторону от своего вагона.

Мама не знает вагона, думала я. И опять разглядывала женщин. Эта слишком старая. Невысокая. Деревенская. Совсем девушка. Не похожа. Не мама. Не она. Ни одной...

С бухающим сердцем я вернулась к вагону. Взобралась по ступенькам в тамбур.

– Ты чего понеслась-то? – Проводница стояла с флажком у открытой двери. —

Хорошо, что успела, – заключила она.

Поезд ехал в обратную сторону, как предсказывал папа.

Я залезла на верхнюю полку. Отвернулась к стене. Я и раньше знала, что мамы нет. Просто мне безумно хотелось, чтобы она жила в Ростове-на-Дону, и однажды мы с ней бы встретились...

Но теперь я знала наверняка, что она не живет нигде. И я никогда-никогда-никогда не увижу ее. Потому что, она умерла. Умерла насовсем, навсегда...

Продолжение главы: хорошая девочка Маша

Каждый вечер перед сном я перебирала события прошедшего дня и подсчитывала победы и свершения. Пятёрка по математике – балл хорошей девочке Маше. Написанное стихотворение – ещё один плюс в копилку полезных дел. Туда же подбрасывались прочитанные книги, участие в кружке юных любителей аквариумных рыбок, ежевечернее вышивание, папины заштопанные носки, разучивание музыкальных гамм...

Я стремилась к советскому совершенству. Быть лучшей ученицей, активной пионеркой, слушаться взрослых, участвовать во всех мероприятиях...

В интернате существовал порядок, со временем ставший традицией: в конце каждой четверти воспитанники выстраивались на линейке, и директор или завуч поздравляли нас с началом каникул и подводили итоги прошедшей части учебного года. К успехам, достигнутым школой, относились ученики-отличники. Директор поименно вызывал ребят, которые под пристальными взглядами присутствующих пересекали пустое пространство линейки и останавливались возле красного знамени и руководства интерната.

– Равнение на лучших! – Командовала старшая пионер-

вожатая, и вся школа вытягивалась по стойке смирно, приветствуя доморощенные элитные кадры.

– Вы должны брать пример с этих ребят, – проникновенно напутствовал рядовых воспитанников директор.

– Посмотрите на Машу Вязьменскую. Каждую четверть Маша стоит перед нами, потому что заканчивает учёбу на одни пятёрки. Маша читает книг больше, чем большинство ребят постарше ее. Она активная пионерка, председатель совета отряда третьего (четвёртого) класса. За успехи в учёбе и пионерской деятельности Маша награждается билетом в Кировский театр (на ёлку во Дворец Пионеров, в Малый Театр оперы и балета, ТЮЗ и прочее, прочее). Пожелаем Маше дальнейших успехов!

А, вы, ребята, должны приложить максимум сил для хорошей учёбы. Наш великий вождь и учитель Владимир Ильич Ленин завещал молодёжи: «Учиться, учиться и учиться».

Однажды, видимо, посчитав, что отличная учёба, прочитанные книжки и сочинённые стихотворения вкупе тянут на присуждение титула хорошей девочки, я написала прочувственное письмо бабушке.

Милая бабушка, писала я ей. Я хорошо учусь в школе. Получаю пятёрки по русскому языку и арифметике. Лучшие всех в классе сервирую обеденный стол на уроках по домоводству и всегда штопаю папины носки. Я очень хочу жить с тобой, дорогая бабушка. Поскорей заведи меня из интернета, пожалуйста. А то мне здесь очень плохо. Любящая

тебя, внучка Маша.

Я вручила письмо отцу, попросив передать его бабушке. Сохранив письмо, папа вернул его мне через двадцать лет, и я изумилась совпадению своего текста с письмом незабвенного Ваньки Жукова.

В отличие от Чеховского героя я виделась с бабушкой довольно часто. Наезжая из Москвы, она жила в теткиной семье, как раньше, бывало, жила у нас. Мы приезжали к Мудровым в гости, где вкусно кормили, и пока папа разговаривал со взрослыми, я слонялась по квартире и рассматривала привезенные из Германии диковины.

Однажды в субботу, когда папа занимался переездом с улицы Марата на Фурманова, он попросил Мудровых забрать меня к себе на выходной.

Респектабельная, хорошо одетая пара прибыла в интернат за дочерью покойной сестры и свояченицы. Тихон Федорович, крепкий высокий мужчина в чине подполковника, был одет в добротную серую шинель и фуражку того же цвета с золотой кокардой на околыше. Наталья Петровна красовалась в тёмном зимнем пальто с меховыми манжетами и воротником-шалью из роскошной чёрно-бурой лисицы. Когда я, худая большеглазая девочка в дешёвом интернатском пальтишке, выскочила им навстречу, тётка не смогла сдержать выражения брезгливости на красивом лице. Выглядела я, прямо скажем, не комильфо.

В скобках замечу, что дядя Тиша в эти три года после ма-

миной смерти несколько раз звал меня в дочки, однако тётка, обычно присутствовавшая при дядиных уговорах, так искренне хохотала, слушая мужа, что я инстинктивно чувствовала какую-то игру понарошку.

Мы доехали на автобусе до Детской улицы и шли к дому, где жили Мудровы. Я пристроилась рядом с тётушкой и пыталась, кажется, взять ее за руку, но она взорвалась, чуть ли, не передёрнувшись от отвращения:

– Не хватай меня! Иди поодаль на несколько шагов, не иди рядом со мной! Дядька пробовал ей возразить, а я отскочила в сторону, как прибитая собачонка, и поплелась в трех шагах позади, глядя в их добротные черно-серые спины.

Дома десятилетний Андрюшка что-то вылавливал из джазовой какофонии, сотрясавшей приёмник, привезённый родителями. В те годы у советского обывателя редко имелись радиоприёмники и телевизоры, но теткин дом ломился от дорогих вещей.

Я вертелась возле бабушки на кухне, читала в уголке какую-то книжку, смотрела кинофильм по телевизору КВН с огромной водяной линзой, увеличивающей изображение, Андрюха бросал мне что-то презрительное, не стесняясь, хамил бабушке, тётка проходила мимо, похохатывая, не замечая меня, а я тихо мечтала о доме и, засыпая, плакала в подушку.

Наверно тогда, не формулируя этого, я разуверилась в способности бабушки забрать меня из интерната.

Глава седьмая: тетя Лида

В конце третьего класса я много болела и часто лежала в изоляторе. Кроме гриппа и тонзиллита у меня находили авитаминоз, анемию, к тому ж начались головные боли, и в последней четверти учебного года врачи запретили мне читать книги.

– Девочка слишком впечатлительная, – объяснял папе профессор, к которому мы ходили на консультацию. – Ей абсолютно противопоказано жить в коллективе. Заберите ее домой! Иначе вы потеряете ребенка.

Папа и сам понимал, что мне в интернате плохо. Он был не только хорошим отцом – он чувствовал ответственность за меня перед покойной женой, поэтому, наверно, в первых месяцах лета он, наконец, решился...

В соседнем отделе его проектного института работала незамужняя женщина, инженер-электрик Лидия Ивановна Орлова, тридцати пяти лет. В марте пятьдесят шестого года она потрясенно рассказывала матери, с которой вместе жила:

– У нас у одного товарища умерла жена. Совсем молодая... Остался один с тремя дочерьми, представляешь? Бедный!

Лидия Ивановна родилась в 1923 году, и в июне сорок первого года – они только-только окончили школу – ей и ее одноклассникам исполнилось по восемнадцать лет. Мальчи-

ков сразу призвали в армию, бросили в бой с фашистами, и они, ее одноклассники, почти все погибли на той войне. Это они заслонили собой Россию, освободили Европу от Гитлера и спасли уцелевших евреев из Освенцима...

И, как говорится, не сложилась у Лиды Орловой личная жизнь. Те, кто любили ее – *не вернулись из боя*, а тот, кого в школе любила она, вернулся с войны с женой – молоденькой медсестричкой, которая выцарапала его у смерти, вытащив почти убитого из-под огня. Правда, в браке он был несчастлив, и умер рано, но это уже другая история, не про нас...

У Лидиноного брата был маленький сын, которого тетушка обожала. Своих детей у нее не было, а детей она очень любила, и многие в ТЭПе знали про это, особенно женщины. Кто-то из них указал Моисею Борисовичу на Лидию Ивановну, которая – и человек хороший, и, по слухам, очень любит детей.

И вот, в начале лета тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года мой отец подловил мою будущую мать на ТЭПовской лестнице и предложил ей стать его супругой... Представьте! Не ухаживал, не готовил благодатную почву для будущего посева, а так... С бухты-баряхты, будьте моей женой!

– Что вы, Моисей Борисович! – Опешила Лидия Ивановна, – я вас, конечно, уважаю, но мы же почти не знакомы!

Сразу не согласилась, но и не отказала, а это – уже половина победы!

Лидия Ивановна уезжала в отпуск, папа писал ей письма,

рассказывал о себе, о семье, о нас... Когда она вернулась, они стали встречаться, знакомиться, присматриваться друг к другу.

Ближе к зиме, кажется, в декабре, в интернате был карантин... Если кто-нибудь из воспитанников заболел – скарлатиной, ветрянкой или свинкой, – его клали в наш изолятор, а остальных детей на десять дней изолировали, то бишь не отпускали домой и запрещали визиты родных – дабы избежать распространения болезни в миру.

Однако нашего папу в седьмом интернате прекрасно знали – еженедельно он приезжал навещать дочерей, к тому же завуч Маргарита Владимировна выделяла меня среди учеников.

С некоторых пор я проводила вечера в ее кабинете. Вероятно, профессор, посоветовавший папе поскорее забрать дочь домой, написал рекомендацию в интернат, чтобы мне предоставили возможность время от времени отдохнуть от коллектива. Проблему решила Маргарита Владимировна, прекрасный и умный педагог, разрешившая пользоваться ее кабинетом.

– Приходи сюда, даже когда меня нет, – убеждала она. – Я скажу воспитателям, чтоб давали тебе ключ. Устраивайся на диване под лампой!

Я согласно кивала, однако стеснялась реализовать приглашение. Тогда она стала посылать за мной:

– Тебя завуч зовет, – говорил посланный ученик, – не за-

будь тетрадку или книжку, она велела.

Я робела, входя в кабинет с высочайшими потолками, будто заслуживала нагоняй от седовласой хозяйки, и неуверенно вопрошала:

– Вы меня звали, Маргарита Владимировна?

– Входи, Маша, входи! Мы же договаривались, что ты будешь приходить сюда, забыла? – Седовласая завуч, которую в школе побаивались поголовно все, благосклонно взирала издалека. Она восседала где-то в конце кабинета, шуршала бумагами, разговаривала по телефону, а я притулялась почти у двери на краешке вместительного дивана из черного дерматина рядом с зеленой настольной лампой и старалась читать принесенную книгу.

Во время декабрьского карантина в дверь кабинета постучала Ада Арнольдовна:

– Маргарита Владимировна, простите! Машин папа приехал. Ему нужно ненадолго повидать дочь. Он не знал про карантин. К сожалению, я не успела позвонить ему. Можно Маше спуститься вниз? Я не позволила им подняться наверх.

– Вы же знаете, Ада Арнольдовна, что во время карантина не допускается контакт воспитанника с родителями, – даже я услышала недовольство в голосе завуча. – Он что – приехал с кем-то из дочерей? А вдруг она не болела ветрянкой?!

Ада Арнольдовна подошла к столу и стала тихо объяснять что-то. Выслушав воспитательницу, Маргарита Владимировна обратилась ко мне:

– Ну, хорошо, Маша! Иди к родным. Только на пять минут! Скажи папе, что у нас карантин, и вы остаетесь в интернате на воскресенье. Пусть больше не приезжает!

Я понеслась к входной двери.

В начале лестницы, на первом этаже, меня ждали папа и незнакомая женщина. Они стояли, молча, не глядя друг на друга, как будто приехали по отдельности. Папа, подняв голову, высматривал меня вверху лестничного пролета, стоявшая рядом женщина, как бы вслед за его взглядом, тоже изредка вскидывала глаза, но через мгновение опускала их.

Я могла бы принять ее за чью-то маму, которая, как и отец, приехала навестить ребенка, не подозревая о карантине, но особым животным знанием, благодаря которому дети оценивают модуль взрослого мира, я безошибочно распознала, что она пришла сюда вместе с папой и тоже поджидает меня.

– У нас карантин! Одна пятиклассница заболела ветрянкой и лежит в изоляторе, – с лестницы закричала я, как мне казалось, шепотом. – Я читала у завуча в кабинете, и она не хотела меня пускать! Мы останемся тут на выходные!

При моем появлении папа выпрямился и теперь стоял торжественно и строго. По-моему, он даже не поцеловал меня.

– Машук, познакомься с Лидиванной, – обратил он мое внимание на свою спутницу.

– Не Лидиванной, а тетей Лидой, – поправила женщина папу. – Здравствуй, Машенька! Я очень рада познакомиться с тобой.

– Здрасьте, – бросила я в ответ. Мне было все равно, как ее называть – Лидиванной или тетей Лидой. Я не знала, откуда она взялась, почему приехала с папой, и, по правде сказать, даже не думала об этом. Было страшно жаль, что папа не останется подольше... Хорошо еще, что дурацкий карантин случился не по моей вине! К четвертому классу я уже переболела всеми заразными болезнями: корью, свинкой, ветрянкой, скарлатиной! Чего меня запирать в интернате, да еще и папу не разрешать!

Лидиванна... Ладно, если ей надо, пусть будет тетя Лида, протянула мне большую коробку.

– Вот, Машенька, это тебе. Потом откроешь, там всякие сладости. Угостишь подружек. Здесь всем хватит.

Коробка была большая, будто в ней помещались новые туфли, я сказала спасибо и не знала, что делать дальше.

В десятилетнем возрасте я вряд ли могла бы выразить словами, что незнакомая женщина, пришедшая в интернат, мне очень понравилась. А о том, что она станет мне матерью, я даже помыслить не смела! Однако моя благодарная память бережно хранит нашу первую встречу, когда мы стеснялись друг друга, не зная, о чем говорить...

Мама – или нет, пусть пока побудет Лидиванной, а лучше тетей Лидой, как она отрекомендовалась, и как я называла ее два или три месяца до их свадьбы – показалась мне очень красивой! Она была хорошо одета, ухожена – особенно по

сравнению с три года вдовствующим отцом, много моложе его, и рядом с ним походила на тугое спелое яблоко сорта белый налив, полное свежего живительного сока.

– Мне больше нельзя, у нас карантин, – решила я, наконец. Чмокнула папу,

кивнула новенькой тете и, не оглядываясь, запрыгала через ступеньки вверх, к нам в дортуар.

В спальне девочки приникли к окну:

– Вон, вон идут на остановку, смотрите! – С восторгом кричала одна из них.

– Машкин отец ведет эту тетку под ручку! А! Что я сказала! Будет у Машки мачеха!

– Она не тетка, а тетя Лида, – яростно завопила я. – А ты заткнись, Александрова, ты ничего не знаешь! Никакая она не мачеха! Все ты врешь!

Окружающий мир занемог, заболел, утерял свою ясность и четкость. Я достаточно начиталась сказок, чтобы знать, что такое *мачеха*.

Одноклассницы расхватали принесенные тетей Лидой домашние сладости:

бело-розовые меренги, трубочки с взбитым масляным кремом и воздушную кукурузу в сахарной карамели, похожую на незнакомые нам пока козинаки.

После отбоя я долго плакала под одеялом, жалея себя и страшась неведомой *мачехи*, злой образ которой никак не желал налезать на молодую, душисто яблочную тетю Лиду. Я

все вспоминала, как она рассматривала плакаты внизу, стесняясь смотреть наверх, чтобы – не дай Бог! – не скользнуть равнодушным взглядом по девочке, которую ждешь, но которую никогда не видела! И как мы с ней растерялись от встречи, не находя, о чем говорить...

Меня тревожило, знают ли Мила с Наташей о приближении *мачехи* к нашей жизни? Я никогда не слышала о *мачехах* от сестер, *мачехи* жили в одних лишь сказках, и теперь хотела обсудить страшную новость со старшими сестрами. Папе я доверяла, но знают ли девочки о его намерениях?

Я пыталась вспомнить маму, но вместо нее выплывала растоптанная Дюймовочка в голубом платье с желтыми волосами, которую я никак не могла забыть. Если б я попросила папу, он давно бы купил мне такую же новую, я видела в магазине железные бутончики с куколками посередине, только теперь все равно ничего не поделаться...

– Мама, мамочка, – горько молилась я, – ты не могла бы вернуться домой? Я не хочу мачеху!

Последние трамваи, стремительно обшарив фарами дортуар, уехали ночевать в трамвайные парки, и опустевший потолок оккупировал свет дежурного уличного фонаря, недовольного мною – зачем я не сплю и плачу: он неодобрительно качал и качал головой, пока я не уснула...

Потихоньку жизнь моя напитывалась знанием, что папа и тетя Лида вскоре поженятся. Не сомневаюсь, что старшие сестры обсуждали со мной предстоящую свадьбу, однако,

скорей, ободряя меня, чем расстраивая или пугая *мачехой*; вероятно, и папа спокойно пообещал, что в ближайшее время сумеет забрать меня домой... Я не радовалась и не боялась, а затаилась и тихо ждала. Кто его знает, как обернется?

Глава восьмая: новая мама

В субботу 7 марта 1959 года в Ленинграде стояла сухая морозная погода. Парки, сады, бульвары, открытые пространства, площадки, пустыри – повсюду лежал белый, подновленный недавними февральскими метелями снег, который задрапировал прекрасный город свадебными декорациями и радостно блестел навстречу яркому солнечному свету, плескавшемуся в голубизне высокого неба.

Дома на Фурманова тоже было необычайно празднично. Пахло пирогами и вкусными кушаньями. В первой комнате появились два старинных кресла, между которыми расположился новый торшер с полированной полочкой и роскошным шелковым абажуром голубого цвета. Большой обеденный стол покрывала тоже новая бледно-голубая кашемировая скатерть с белыми лилиями, вытканными контуром по всему полю, и нарядной бахромой с перевитыми нитями тех же цветов. На углу стола, на скатерти, лежала книга большого формата в бело-голубой суперобложке, с которой огромными печальными глазами смотрел мальчик – король Матиуш Первый: тетя Лида купила книжку Яноша Корчака и специально оставила на столе, чтобы, вернувшись из интерната, я стала ее читать.

Я с ногами забралась в уютное старинное кресло, спинка которого полукругом обнимала сиденье, и открыла «Короля

Матиуша».

Умирал старый король, его сын оставался один, и ему предстояло стать следующим королем, Матиушем Первым; вскоре за ним будет наблюдать весь мир, будут критиковать и обвинять в ошибках – это он, он виноват! Он все неправильно делает, он плохой, он должен быть сослан! Я сочувствовала бедному мальчику, и понимала его...

Отступление: аутодафе

Незадолго до нынешнего счастливейшего дня моего детства – бело-голубого мартовского дня родительской свадьбы – Ада Арнольдовна подвергла меня публичной экзекуции.

В прошлом ноябре нас приняли в пионеры, после чего наш третий класс получил статус *пионерского отряда*, во главе которого полагалось иметь *председателя*. На высокий пост Ада Арнольдовна рекомендовала избрать самого достойного ученика, остальные девятилетние пионеры голосовали: кто – за? кто – против? Поднимите руки! В результате Машу Вязьменскую избрали единогласно!

Что именно должен был организовывать в третьем или четвертом классе председатель совета отряда, я теперь затрудняюсь определить... Все, как обычно, решали взрослые.

Сама я охотно занималась всем – сказывался активный характер – но совершенно не умела руководить другими, стремясь все всегда сделать собственноручно.

В третьей четверти четвертого класса, когда папа поставил в известность руководство интерната, что вскоре заберет меня домой, Ада Арнольдовна устроила мне аутодафе.

Я много лет не понимала смысла разыгранного ею действия. Если я не подходила на роль председателя совета отряда, не вовлекала одноклассников в пионерскую деятель-

ность, неужели она не могла объяснить с глазу на глаз – нужно делать так-то и так-то. Ты не должна все делать сама. Пусть Малинин нарисует карикатуры, Ира Сажина их прокомментирует, а передовицу о том, как четвертый класс борется за звание «Лучшего пионерского отряда в интернате №7», напишет Марьялов, я ему помогу. Почему она захотела публично унижить меня?

Объяснение всплыло, когда я давно была взрослой: Аду Арнольдовну оскорбила женитьба моего отца.

Она была ровесницей моей будущей мамы, из-за войны, как и та, осталась не замужем. Вежливый, симпатичный Моисей Борисович ей, без сомнения, нравился, и она, наверно, мечтала, что, в конце концов, он заметит ее. Миловидная, рукодельная, прекрасно относится к детям, национальность одна —нет, положительно – лучшей жены ему не сыскать! А воображаемый жених, как выяснилось, не оценил ни румяных щечек, ни черной гладкой косы вокруг головы, ни сладких улыбок, ему расточаемых, даже талантом рукоделия пренебрег!

В очередной воспитательский час Ада Арнольдовна провозгласила:

– Сегодня, ребята, мы с вами рассмотрим вопрос о председателе совета отряда Маше Вязьменской.

– Маша, выйди, пожалуйста, к учительскому столу и встань перед всеми, чтобы мы могли тебя видеть. Теперь, ребята, вы должны хорошенько подумать и высказать о Ма-

ше критические замечания. Какой, по-вашему, она председатель совета отряда? – Поставила воспитательница перед коллективом вопрос ребром.

– Какой председатель, какой председатель!? Хороший она председатель! – Опередил всех преданный Борька, не забывавший акrostих Веры Инбер.

– Из-за нее мы второе место в соревновании получили, – поддержала его Тоня Маркелова, – и учится она хорошо...

– ... и списывать всем дает, – включился верзила Гусыкин, которого приняли в пионеры позже всех остальных.

– Тебе бы, Гусыкин, помолчать, – оборвала возникший смех Ада Арнольдовна и продолжала, – кажется, вы не поняли сегодняшнюю задачу. Все мы знаем, что Маша учится хорошо, много читает, но не об этом речь. Вы должны высказать Маше критические замечания, чтобы она осознала свои ошибки и исправила их. Кто из вас скажет, что такое *критика*?

Четвероклассники дружно молчали. Я-то, конечно, встречала это слово в книжках и понимала, что означает *критика*, но молчание накалялось, и всем внезапно оледеневшим нутром я явственно ощутила, что мне не стоит высказывать сейчас со своими знаниями, что воспитательница сама направит всех против меня и – вот он, близок, неотвратимый гон...

– Хорошо, я объясню вам, – сладко улыбаясь, Ада Арнольдовна обвела взглядом лица подопечных. – Вы должны высказать Маше все плохое, что вы о ней думаете. Это называ-

ется *критикой*. А Маша должна осознать ошибки и исправить их, понимаете? Ну, кто первый начнет? Смелее!

Все продолжали молчать, но теперь, никто не смотрел на меня, даже Лариса уставилась в парту. У меня в голове, с левой стороны лба, ритмично затикали часы, очень хотелось сесть и сжать их руками, чтоб они перестали тикать, но я понимала, что сесть нельзя. Я очень боялась. У меня все внутри заболело от страха. Кажется, что тут бояться? Что они могли сделать мне? Но я замерзала от страха. Я еще слов-то таких не знала – унижение человеческого достоинства, но боялась именно этого – публичного унижения, поругания у всех на виду, на лобном месте. Одноклассники тоже, наверное, понимали это.

– Что ж вы молчите? – Допытывалась Ада Арнольдовна. – Разве вам нечего рассказать о Маше? Люся, кажется, ты собиралась выступить, – обратилась она к Александровой.

Ирка вытолкнула Александрову из-за парты, Люська, давай, скажи ей! Александрова, будто рыжая Ирка замкнула цепь, по которой вращалась ее, Александровой, жизненная энергия, решительно встала во весь гренадерский рост – из девочек она была самая рослая – и обличительным тоном громко поведала классу историю о моем предательстве моей же лучшей подруги Ларисы Шишкиной, поскольку у нас с Марьяловым, видите ли, случилась любовь.

– Разве советский пионер может предать дружбу? Даже если он влюбился в мальчика, – к самой любви Александра

относилась трепетно, и обличать ее не собиралась.

Однажды, незадолго до обсуждения моего персонального дела, Александрова вместе со мной проскользнула в учительскую уборную, где я пряталась от прогулок.

– Ты здесь книжки читаешь? – Спросила она меня. Я кивнула, да, не люблю гулять, ты же знаешь.

– Хочешь потрогать мою п...у? – Вдруг придвинулась она ко мне. Она назвала *это* именно так, грязным, ругательным словом, которое приличные девочки не говорят.

– Нет! – Ужаснулась я.

– А хочешь, я потрогаю у тебя, – не отставала она. Я опешила, не хочу! – и прикрыла себя принесенной книжкой.

– Это очень приятно. Тебе понравится, вот увидишь, – не отставала она.

– Я сегодня пойду гулять! – Оборвала я Александрову и ретиво рванулась к двери. Александрова не настаивала.

Ни на прогулке, ни потом в дортуаре она не смотрела на меня *по-особенному*. Если смотрела, то обычно, и я бы могла подумать, что прочитала все это в книжке – и про Люську, и про п...у. Но иногда в голове возникал вопрос – а с Иркой они занимаются *этим*?

Мальчишеская часть класса, не подозревавшая о бурных страстях, недавно случившихся рядом, разразилась воплями восторга.

– Борька, а вы с Машкой целовались или просто так? – Загоготал Гусыкин.

– Жених и невеста, тили-тили тесто! – Подхватил кто-то еще.

– Заткнись, Гусь, а то напощам! – Взбешенный Борька уже не соображал, что Гусыкин выше его на две головы.

Лариса плакала, положив голову на парту. Все вокруг хотало, кричали, пытались драться, девочки демонстративно затыкали пальцами уши – страсти разбушевались не на шутку.

– Марьялов, вернись на место! Гусыкин, ты сейчас выйдешь из класса! Люся, сядь! Всем замолчать! – Пыталась остановить стихию Ада Арнольдовна.

Я по-прежнему стояла у учительского стола, никто не обращал на меня внимания. Страх прошел, мне было нестерпимо жалко Ларису. Для чего Люська опозорила ее перед всеми? Я же повинилась перед Ларисой сразу же, перед Новым годом, когда Александрова наорала на меня в дортуаре, что ты, мол, теперь с Марьяловым, а Шишкина переживает, что ты ее бросила. Почему она опять говорит об этом? И еще перед всеми, не все же знали...

Борьку мне жалко не было. Я настолько восхитилась зашифрованным стихотворением, что мне захотелось так же объясниться в любви. Бедный Борька и подвернулся. Я же не виновата, что он поверил...

– Видишь, Маша, твоя подруга плачет из-за тебя, – укоризненно обратилась ко мне Ада Арнольдовна. – А ты – пионерка! Председатель совета отряда! Разве пионеры преда-

ют друзьями?

– Но ведь я попросила у Ларисы прощения! – Не выдержала я. – Мы помирились уже давно! До Нового года... И Александрова знала это!

– Ничего я не знала, – завопила Александрова, не вставая. – Если ты такая отличница, почему не помогаешь остальным учиться на пятерки? – Лучшая ученица! – Сказала она с издевкой.

Ада Арнольдовна обрадовалась смене объекта.

– Правильно, Люся, вот настоящее критическое замечание! Действительно, Маша, почему ты не взяла на себя пионерское обязательство – подтянуть до уровня отличника хотя бы одного своего товарища. Почему твоя подруга Лариса учится хуже тебя? Ты что, не можешь подтянуть ее, чтобы она тоже стала отличницей? Или того же Борю Марьялова, например?

– Я не хочу в отличники! – Отчаянно закричал Борька.

– Я тебя, Марьялов, не спрашиваю, – оборвала его воспитательница с недоброй улыбкой, – дружить с Машей хочешь, а, чтобы она тебя подтянула – почему-то, нет. Лентяй ты, Боря, вот и сидишь на троечках.

– Пусть меня подтянет, я согласен быть отличником, – заметил Гусыкин с места. – Я тоже хочу получать билеты, как Вязьменская. В театры, на елки...

– Ой, Гусыкин, Гусыкин, сколько я на тебя сил положила без толку, думаешь, Маша справится? – Не выдержала Ада

Арнольдовна.

Мне так и не поручили подтянуть кого-нибудь до уровня отличника, хотя кого бы я могла подтянуть, ведь Ада Арнольдовна ежедневно после занятий занималась с каждым отстающим учеником индивидуально, да и то сказать, помогало мало...

И с должности председателя совета отряда меня не сместили – я оставалась им до последнего дня пребывания в интернате. В отношении меня никаких организационных выводов вообще не последовало, поэтому я, уже будучи взрослой, находила тому давнему показательному процессу лишь одно объяснение: Ада Арнольдовна устроила его, чтобы удовлетворить свое чувство мести.

Продолжение главы: новая мама

Они приехали вдвоем под вечер.

– Мы с тетей Лидой поженились, она будет жить с нами, – обнял меня папа и шепнул, – ты рада?

Еще бы! Это был лучший его подарок за всю мою жизнь! Лучше новогодних подарков, которых я ждала и получала от деда Мороза, потому что папа великолепно умел незаметно подсовывать их. И хотя время елок уже миновало, но этот папин подарок был в миллион раз лучше, чем любые подарки на Новый год, потому что он подарил мне маму. Подарил на всю жизнь, навсегда...

Вечером за большим раздвинутым столом собрались гости. Около папы сидели Мудровы, которых как ближайших родственников нашей семьи пригласили на свадьбу.

Наверное, я продолжала читать о Матиуше, как вдруг горький плач тетки заставил меня взглянуть на происходящее за столом. Опять, как три года назад на Марата, тетка, прикрыв глаза, из которых лились слезы, раскачивалась из стороны в сторону и на одной ноте голосила.

– Бедная-бедная Таня, зачем ты умерла такой молодой, зачем покинула нас и девочек! Танечка, Господи, Танечка...

Ей, видимо, очень хотелось сказать это страшное слова *мачеха*, но она удержалась, не произнесла его вслух. Дядя Тиша пытался успокоить жену.

– Наташа, прекрати, мы на свадьбе, не на похоронах, дома поплачешь.

А новая бабушка, мать тети Лиды, которая сидела с другой стороны стола, где под торшером читала я, чуть слышно – мне-то было слышно отлично! – сердито прокомментировала:

– Жалко сестру и племянниц – взяла бы их на себя и не сидела б сегодня на свадьбе Лиды.

Я услышала тетку и испугалась – вдруг тетя Лида встанет из-за стола и скажет, что ж, если я не нужна, пойду домой... А меня заберет тетка или опять я останусь в интернате!

Но как-то все успокоилось. Что-то папа сказал, что мы будем помнить и любить Таню – нашу родную маму, что-то тетя Лида сказала, что в доме нужна женщина, мать, Машеньке пора вернуться домой, и она надеется, постарается, приложит все силы и любовь...

В понедельник в младших классах интерната праздновали Международный женский день восьмого марта. Сам праздник пришелся на выходной, и концерт для мам устраивали девятого марта после школьных занятий. Как обычно, вести концерт и участвовать в номерах предстояло мне. Сочетание иерихонского голоса и куража позволяло мне прекрасно справляться с ролью конферансье и читать со сцены стихи.

Концерт предназначался для мам учеников младших классов, большого количества гостей не ожидалось – немногие работающие женщины имели возможность отпроситься

со службы или взять день в счет отпуска, поэтому стулья расставили лишь по периметру зала. К тому же после концерта предполагалось продемонстрировать мамам наше умение танцевать бальные танцы – нас обучали разным *па-де-де* и *па-де-грасам* – не помню теперь, чем они отличаются – и мы танцевали их в зале, а не на сцене.

На противоположной стороне зала Ада Арнольдовна устроила выставку рукоделий девочек. На каждую вышитую салфетку булавкой был прикреплен бумажный прямоугольник со словами: «Выполнена ученицей четвертого класса...» и следовала фамилия и имя. По краю моей салфетки шла широкая кружевная полоса ришелье, ближе к центру гладью были вышиты синие васильки и желтые колосья спелой ржи. Рукоделием я гордилась – сама выбирала рисунок и старательно вышивала салфетку, заранее зная, что восьмого марта подарю ее тете Лиде.

Я ждала ее внизу у входной двери. Утром, когда я уезжала в интернат, она обещала, что обязательно приедет на праздник.

Она вошла с мороза, холодная и румяная – пахло яблоками – и, улыбаясь, спросила, давно меня ждешь? Не знаю, ответила я, наверное, нет, но скоро концерт начнется, мне надо подняться в зал... Нехорошо опаздывать, да? – посмотрела она на меня, и я решилась. Мне и решаться не надо было, я просто давно мечтала об этом, а вчера посоветовалась с папой, и он одобрил. Скажу – и все...

– Тетя Лида, – сказала я, – можно я буду звать вас *мамой*?

– Господи, Машенька, – у нее навернулись слезы, – как я буду счастлива! Ну, конечно!

Мама прижала меня к себе, я обвила руками ее талию, и мы постояли минуту, обнявшись, обмениваясь теплом и флюидами – как будто скрепляли союз на всю остальную жизнь.

– Пойдем, – сказала она, – тебе, вероятно, пора начинать концерт, ты же конферансье!

Мы поднялись вдвоем в актовый зал интерната.

Никогда не забуду того ликования и торжества! Я рванулась в зал, крепко держа маму за руку и даже немного таща ее за собой – и закричала из живота, во весь иерихонский голос, перекрывая бесконечные годы сиротства и интернатского заключения:

– Смотрите! Смотрите! Видите? Это теперь моя мама!

Все обернулись навстречу и, молча, смотрели на маму, как будто ни разу ее не видели. Весь класс смотрел, мальчишки, девчонки: Ирка, Люся Александрова, Тоня Маркелова, Лариса, Гусыкин, Борька Марьялов... Все!

А Ада Арнольдовна подплыла к нам и сладко заулыбалась:

– Очень приятно, очень приятно! Мы так рады за Машу. Она у нас лучшая ученица! Отличница! А вы садитесь, садитесь, сейчас мы начнем наш праздник!

Весь концерт я была на сцене, объявляла стихи и песни, исполняла что-то сама, танцевала в паре с Борей Марьяло-

ВЫМ *па-де-де* и *па-де-грас* и все время видела маму – как она улыбалась мне.